

-----  
Перевод Дмитрия Кузьмина info@vavilon.ru  
По изданию: Сент-Экзюпери А. де. Сочинения. М.: Книжная палата,  
2000.  
С.9-58  
-----

## Часть первая

### I

Радиограмма. 6.10. Тулуза всем аэродромам. Почтовый Франция --  
Южная  
Америка вылетел 5.45. Точка.

Небо, чистое, как вода, омыло звезды и расставило их по местам. И наступила ночь. Сахара, дюна за дюной, расстилалась под луной. Этот светильник не высекает предметы из тьмы, но творит, насыщая нежной плотью.

Под нашими приглушенными шагами -- роскошество плотного песка. И мы идем с

непокрытой головой, сбросив бремя солнца. Ночь -- наш кров и прибежище...

Но как поверить, что это -- покой? Неустанно неслись к югу пассаты, шелком шелестел выметаемый дочиста пляж. Не то, что ветра Европы: покрутятся

да и утихнут, -- эти свистели над нашими головами постоянно, как над мчащимся поездом. Иной ночью они врезались в нас с такой силой, что, казалось, только обопрись -- и тебя подымет и унесет невесть куда. Вот это скорость, вот это неистовство!

Возвращалось солнце, приводя за собой день. Мавры слегка волновались. Некоторые отваживались приблизиться к испанскому форту, размахивали руками, их ружья казались игрушечными. Сахара, вид из-за кулис: непокорные племена

-- простые статисты, без малейшего покрова тайны.

Мы жили с ними бок о бок, видя в них собственное отражение, только попроще. И потому не чувствовали, что затеряны в пустыне: чтобы понять, как

мы были одиноки, надо было сперва вернуться домой и посмотреть на здешнюю

жизнь со стороны.

Пятьсот метров -- и начинается непокоренная страна: дальше -- ни шагу. Мы были в плену у мавров и у самих себя. Наши ближайшие соседи -- в Сиснеросе, в Порт-Этьене, за семьсот, за тысячу километров -- точно так же были схвачены Сахарой, словно крупинки металла -- рудой. Обращались по своей

орбите вокруг такого же форта. Мы знали их по именам, по их причудам, но

толща безмолвия пролегла между нами, как между обитаемыми планетами.

В то утро мир для нас начал оживать. Радист наконец принес телеграмму (раз в неделю нас связывали с миром две врытые в песок мачты):

Почтовый Франция -- Южная Америка вылетел Тулузы 5.45. Точка.

Прошел

Аликанте 11.10.

Говорила Тулуза, головной аэродром, Тулуза -- далекий бог.

За десять минут эта весть доходила до нас через Барселону, через Касабланку, через Агадир, а потом распространялась до самого Дакара. По всей

линии -- пять тысяч километров -- аэродромы проверяли готовность. В шесть

вечера радио заговорило снова:

Почтовый приземлится Агадире 21.00, вылетит Кап-Джуби 21.30, здесь подсветить мишленовской ракетой, в Кап-Джуби обычные сигнальные огни. Точка.

Держите связь Агадиром. Тулуза.

В Кап-Джуби, затерянные в песках Сахары, мы следили, как из обсерватории, за далекой кометой.

К шести вечера встревожился юг:

Дакар Порт-Этьену, Сиснеросу, Джуби: Срочно сообщите сведения почтовым.

Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: Никаких сведений после прохождения Аликанте 11.10.

Где-то рокотал мотор. От Тулузы до Сенегала пытались его услышать.

## II

Тулуза. 5.30.

Служебный автомобиль резко тормозит у ворот ангара, распахнутых в ночь и дождь. Прожектора по пятьсот свечей вырубает из тьмы предметы -- грубые, голые, четко очерченные, как на витрине. Под сводом ангара каждое слово раскатывается, длится, наполняет собой тишину.

Сверкает сталь обшивки, ни пятнышка масла на моторе. Самолет как новенький. Как тончайшее часовое устройство -- и механики касались его пальцами изобретателей. Теперь все готово -- они отходят от дела своих рук.

-- Живей, господа, живей...

Мешок за мешком чрево машины поглощает почту. Быстрая проверка: -- Буэнос-Айрес... Натал... Дакар... Касабланка... Дакар... Тридцать девять мешков. Точно?

-- Точно.

Пилот одевается. Пара свитеров, шарф, кожаный комбинезон, сапоги на меху. Сонное тело неповоротливо. Его торопят: "Давай, живее!" Тяжело и неуклюже, едва удерживая негнуцимся в толстых перчатках пальцами часы,

высотомер, планшет с картами, он карабкается в кабину -- водолаз вне своей стихии. Но вот он на месте -- и все становится легко.

К нему поднимается механик:

-- Шестьсот тридцать килограмм.

-- Пассажиры?

-- Трое.

Не глядя, он берет их под начало.

Начальник линии поворачивается к рабочим:

-- Кто крепил капот?

-- Я.

-- Двадцать франков штрафу.

Начальник линии бросает последний взгляд на машину: всюду совершенный

порядок, движения выверены, как в балете. Самолет в этом ангаре так же точно

занимает свое место, как будет занимать его в небе пять минут спустя. И весь полет рассчитан так же точно, как спуск на воду корабля. На капоте недостает

крепежного шпльнта -- чудовищная ошибка! Прожектора в пятьсот свечей,

придирчивый осмотр, суровая требовательность -- все для того, чтобы от посадки к посадке, до самого Буэнос-Айреса или Сантьяго этот полет совершался силой законов аэродинамики, а не волей случая. Чтобы, вопреки

туманам, бурям и вихрям, и тысяче тайных угроз в пружине или коромысле

клапана, -- вопреки всем козням материи -- настичь, обогнать, посрамить все эти скорые и товарные, поезда и пароходы! И приземлиться в рекордный срок в

Буэнос-Айресе или Сантьяго.

-- В путь!

Маршрутный лист для пилота Берниса: план битвы.

Бернис читает:

Перпиньян передает: Небо чистое, ветра нет. Барселона: Буря. Аликанте...

Тулуза. 5.45.

Мощные колеса давят на тормозные колодки. Прибитая к земле ветром от

винта, струится и трепещет трава на двадцать метров назад. Одним движением

кисти Бернис дает волю буре или укрощает ее.

А гул мотора все разбухает, накатывается и накатывается, становясь наконец плотной, почти твердой средой, в которой замкнут самолет. И вот пилот ощущает: этот гул что-то в нем переполнил, какое-то чувство, которого

мгновение назад было недостаточно. Он говорит себе: есть! Смотрит на черный

против света капот, гаубицей упирающийся в небо. Там, за винтом, дрожит

заря.

Медленно вырубивая навстречу ветру, он берет на себя рукоять газа. Самолет, подхваченный винтом, бросается вперед. Упругий воздух

сглаживает

первые скачки, земля растягивается и блестит под колесами, как приводной

ремень. И когда воздух, сперва неосязаемый, потом текучий, наконец кажется

ему твердым -- пилот опирается на него и взмывает ввысь.

Окружавшие аэродром деревья расступаются, открывая горизонт, и исчезают. Склонись с высоты двухсот метров, взгляни, пока видно, на этот игрушечный, для детей, мирок: как прямо поставлено каждое дерево, как раскрашены дома, и леса топорщат свой густой мех, -- на этой земле живут...

Бернис ищет нужный наклон спины, точное положение локтя -- должно быть

удобно. Позади -- низкие тучи возводят над Тулузой темный свод вокзала.

Бернис уже не так сдерживает рвущийся в высоту самолет, постепенно давая

волю силе, зажатой в его руке. И каждая волна, рождаясь от легкого движения

его кисти, подхватывает и возносит его самого, как волна прилива.

Через пять часов -- Аликанте, вечером -- Африка. Бернис задумался. На душе спокойно: "Я навел порядок". Вчера с вечерним скорым он оставил Париж.

Это был странный отпуск, в памяти брезжит лишь непонятное смятение.

Ему еще

будет больно, но сейчас -- все отброшено, осталось позади, как будто живет своей, отдельной от него жизнью. Сейчас он заново рождается вместе с этой

зарей -- и, дитя рассвета, помогает создавать новый день. Он думает: "Я только рабочий, я налаживаю связь с Африкой". А для рабочего, заново строящего мир, этот мир каждый день начинается заново.

"Я навел порядок..." Последний вечер в своей квартире. Кипы газет, пачки книг, письма -- эти разобраны, те -- в огонь. Для мебели приготовлены чехлы. Каждая вещь вырвана из своей жизни, выброшена в одиночество и

пустоту. И в этом смятении сердца -- уже никакого смысла.

Он собирался в завтрашний день, как в дальний путь. Отплывал в него, как на поиски новых земель. Только что его привязывало к самому себе множество незавершенных дел. И вдруг -- он свободен. Бернис почти со страхом

открывает, что он свободен и лицом к лицу со смертью.

Внизу проплывает Каркассон со своим запасным аэродромом.

Высота -- три тысячи метров. Какой совершенный порядок царит там, внизу! Игрушечный мир аккуратно собран и сложен в коробку. Дороги, каналы,

дома -- все, чем играет человек. Мир тщательно размеченный и разлинованный:

каждому полю -- своя изгородь, каждому парку -- своя стена. Каждой каркассонской лавочнице -- жизненный путь ее прабабки. Каждому -- маленькое,

от сих до сих счастье. Игрушечная жизнь, аккуратно помещенная под стекло.

И уж так он выставлен, выложен напоказ, этот мир под стеклом! В строгом

порядке следуют на рулоне карты городки, и земля медленно, с неукоснительностью морского прилива проносит их под крылом самолета.

Бернису кажется, что он совсем один. Солнце бликует на циферблате высотомера -- сверкающее, ледяное солнце. Чуть нажми на педаль -- и там, внизу, все снесет течением. Только этот неживой свет -- и земля словно неживая: с нее стерли то, в чем таится сладость, хрупкость, аромат жизни.

Но вот под этой кожаной курткой -- теплое тело, теплое, Бернис, и уязвимое. Под грубыми перчатками -- волшебные руки, умевшие, Женевьева,

кончиками пальцев ласкать твое лицо...

Испания.

### III

Сегодня, Жак Бернис, ты пройдешь над всей Испанией спокойно и уверенно, как хозяин. Знакомые виды будут сменять друг друга. Ты запросто, локтями, проложишь себе путь сквозь грозы. На тебя, а потом -- за тебя, назад, несет Барселону, Валенсию, Гибралтар, -- есть! Ты скатываешь эту карту обратно в рулон, за спиной -- все больше сделанной работы. А я вспоминаю твои первые шаги -- и мои последние советы перед твоим первым почтовым. С рассветом тебе предстояло взять в руки множество людских раздумий. В свои слабые, уязвимые руки. Взять -- и перенести через тысячи преград, как сокровище под плащом.

Ведь почта драгоценна, сказали тебе, драгоценней, чем сама жизнь. И так же хрупка. От любой промашки она может исчезнуть в огне или рассеяться по ветру. Вот какой он был, тот канун битвы:

-- И что тогда?

-- Тогда попробуй дотянуть до пляжа у Пеньисколы. Но осторожно -- там рыбачьи лодки.

-- А дальше?

-- Дальше до самой Валенсии всегда найдешь, где сесть. Вот, я тебе обвожу красным. На худой конец, сойдут и высохшие русла.

Зеленый абажур, расстеленные карты -- Бернис как будто снова в школе. Но в каждом клочке земли его новый учитель открывал для него живую тайну.

Неведомые страны представляли отныне не мертвой цифирью, а настоящими лугами,

полными цветов (берегись вон того дерева!), настоящими пляжами, усталанными

песком (вечером будь осторожен -- рыбаки!).

Ты уже понял, Бернис: никогда не узнать нам ни Гранады с Альмерией, ни

Альгамбры, ни мечетей -- только самые скромные тайны ручейка и апельсинового дерева.

-- Ну, слушай: если с погодой порядок, иди напрямик. А если погода

плохая и лететь приходится низко -- ты берешь влево и входишь в эту долину.

-- ... вхожу в эту долину...

-- А потом -- снова к морю, через вот этот перевал.

-- ... к морю через перевал...

-- С мотором поосторожней -- берег там крутой, кругом скалы.

-- А если начну проваливаться?

-- Придется выпутываться!

Бернис улыбается: молодые пилоты -- романтики. А какую-нибудь скалу

швырнет на тебя, как из пращи, -- и убит. Бежал ребенок -- и вот неведомой рукой поражен прямо в лоб и повержен навзничь...

-- Да нет, старина, в самом деле! Всегда приходится выпутываться.

И Бернис горд таким уроком: в детстве во всей "Энеиде" не нашлось ни одной тайны, какая хранила бы от смерти. Школьный учитель, проводя пальцем

по карте Испании, не умел открыть ни родника, ни клада, ни западни, ни той,

из песенки, пастушки на лугу.

Что за нежность лилась в тот день из-под зеленого абажура! Маслом этой лампы можно было бы усмирить морскую волну! За окном крепчал ветер, и наша

комната впрямь казалась одиноким островком, приютом моряков.

-- Винца?

-- Пожалуй...

Комната пилота, ненадежный приют, -- каждый раз приходилось строить ее

снова. Накануне вечером Компания извещала: "Пилот такой-то назначается в

Сенегал... в Америку..." И в ту же ночь -- порвать все связи, заколотить ящики с вещами... Скромный наряд твоей комнаты -- фотографии, книги, -- все

прочь, среди голых стен не остается даже призрака... А порой в ту же ночь надо было еще разомкнуть обнимавшие тебя руки, осилив какую-нибудь юную

особу. Убедить невозможно -- ведь каждой не занимать решимости, но можно

измотать любовью и к трем утра, покорившуюся не разлуке, а своему горю,

потихоньку препоручить сну, понимая: она плачет -- значит, смирилась...

Что же ты узнал, Жак Бернис, отправившись странствовать по свету? Самолет? Он продвигается вперед так медленно и трудно, словно просверливая

твердый кристалл. И города мало-помалу становятся на одно лицо: плоть

каждого ощущаешь только на земле. Ты знаешь теперь, все эти дары даются и тут же отнимаются, и время уносит их, как морская волна. А тогда ты возвращался из первых полетов, и чувствовал, как в тебе рождается новый человек, и тебе все хотелось устроить ему свидание с нежным мальчуганом былых времен, -- почему? В первый же свой отпуск ты потащил меня в родной колледж. Здесь, в Сахаре, ожидая твоего мимолетного появления, грустно мне вспоминать, как мы ездили в гости к нашему детству.

Белый особняк среди сосен. Вот загорелось окно, чуть погода -- второе. И ты сказал мне: "Вон в том классе мы писали наши первые стихи".

Мы явились из такой дали. Мы укрывали целый мир полой тяжелого плаща, в нас жили бессонные души странников. В незнакомые города мы вступали, сжав зубы, при полном защитном снаряжении. Людские толпы обтекали нас. Для прирученных городов -- Касабланки, Дакара -- мы берегли белые тенниски и фланелевые брюки. В Танжере мы даже ходили с непокрытой головой: к чему доспехи в этом сонном городке!

Мы вернулись крепкими, сильными, настоящими мужчинами. Мы боролись и страдали, из конца в конец пролетали над бескрайними землями, любили женщин, не раз играли в орлянку со смертью, -- только бы одолеть худшие страхи нашего детства, не бояться больше, что оставят после уроков и дадут лишнее задание, и бестрепетно слушать по субботам отметки за неделю.

По вестибюлю прошел шепоток, послышались возгласы -- к нам спешили наши старые учителя. Золотой свет ламп лился на пергаментные лица, а глаза лучились радостью и приветом. И тотчас стало ясно: они знают, мы теперь -- из другого теста. Так повелось: выпускники возвращаются, их поступь тверда, их ведет жажда реванша.

А потому их не удивило ни мое крепкое рукопожатие, ни прямой взгляд Жака Берниса. Потому они сразу приняли нас как мужчин, и кто-то побежал за бутылочкой старого самосского -- прежде об этом не могло быть и речи.

Ужин собрал нас всех за столом. Они жались друг к другу под абажуром,

как крестьяне вокруг очага, и мы ощутили их слабость.

Ведь это от слабости стали они снисходительны. Нашу прежнюю лень, что вела прямым в бездну пороков и несчастий, -- вспоминали с улыбкой, как невинное прегрешение детства. Нашему честолюбию, с которым некогда так яростно боролись, -- в этот вечер потакали, называя благородным... И даже учитель философии снизошел до признаний.

Декарт, похоже, основал свой метод на логической ошибке. Паскаль... Паскаль так бесчеловечен! Ну, а он сам... Жизнь подходит к концу, а он так и не разрешил для себя, сколько ни пытался, старую как мир проблему свободы воли. Всеми силами, оберегая нас, ополчался он на детерминизм, на Тэна, видел в Ницше смертельную угрозу для неоперившихся юнцов, -- и что же?

Винился теперь перед нами в преступной слабости: Ницше волновал и его. А материя -- действительно ли она существует? Он больше ничего не знает, он в смятении...

И тогда они засыпали нас вопросами. Ведь мы вышли из тепла и уюта этого дома навстречу всем бурям жизни -- кто же еще расскажет им, какая на земле погода? И правда ли, что, полюбив женщину, становишься ее рабом, как Пирр, или палачом, как Нерон? Так ли пустынна Африка, так ли ясны над ней небеса, как рассказывал на уроке учитель географии? И, кстати, страусы -- в самом деле закрывают глаза в минуту опасности? Жак Бернис, хранитель великих тайн, чуть склонялся к своим учителям, и те выпытывали их одну за другой.

Они хотели знать, как пьянит борьба и как ревет мотор, и почему для счастья нам мало, как им, вечерами подрезать розы. И Бернис в свой черед трактовал им Лукреция и Екклезиаста, оделял советами. Пока не поздно, он учил их, какой нужен запас воды и пищи, чтобы выжить, потерпев крушение в пустыне. Бегло набрасывал самые важные наставления: как не погибнуть при встрече с маврами, как уберечь машину от огня... А учителя качали головой, взволнованные и ободренные, гордясь этим новым племенем, которое выпустили в мир. Они всегда славили героев -- теперь им довелось увидеть их, узнать,

прикоснуться, теперь они могли спокойно умереть. И они заговорили о юных годах Юлия Цезаря.

Но, хоть и жаль нам было их огорчить, -- мы не сумели умолчать об отчаянии, о том, как горек отдых после бесплодной борьбы. И еще, пока самый старый из учителей задремал, -- о том, что нам было больнее всего: быть может, единственная истина на свете -- в мирном шелесте книжных страниц.

Однако об этом наши учителя уже знали. Им не занимать безжалостного опыта:

ведь среди уроков была история.

-- Но какими судьбами -- снова к нам?

Бернис не ответил. Впрочем, старые учителя умели читать в сердцах: они переглянулись и подумали о любви...

#### IV

Земля с такой высоты казалась голой и мертвой; но самолет идет на посадку -- и она одевается. Снова ее покрывает ворс лесов, долины с холмами бегут морской зыбью -- земля дышит. Он летит над горой -- это грудь спящего великана, вздымаясь, едва не задевает самолет.

Еще ближе к земле виды сменяются быстрее -- будто с моста глядишь на поток. Сплошной, цельный мир ломается на куски, будто ледоходом. От ровного горизонта откалываются деревья, дома, селенья, и течение несет их назад, за спину Берниса.

Вот показался аэродром Аликанте, покачался и замер; колеса касаются земли, близкие, как валки прокатного стана.

Бернис выбирается из кабины. Ноги затекли. Приходится на миг зажмуриться: голова полна гулом мотора, в глазах еще мелькает, во всем теле

продолжает жить дрожь машины. Потом он входит в контору, медлительно

присаживается, локтем отодвигает чернильницу, какие-то книги и берет бортовой журнал своего 612-го.

"Тулуза -- Аликанте: в полете -- 5.15."

Рука замирает, наваливаются усталость и сон. Слышится невнятный шум,

будто где-то неподалеку бранится склочная старуха. В дверь заглядывает

водитель "Форда", улыбается и просит извинить. Бернис обводит  
тяжелым  
взглядом стены, дверь, этого шофера в натуральную величину. На десять  
минут

он втянут в непонятный ему спор, в какие-то события без конца и начала.  
Все

кажется ненастоящим, призрачным. Впрочем, вот дерево у порога -- ему,  
как-никак, лет тридцать. Тридцать лет оно утверждает подлинность всего  
вокруг.

"Мотор в порядке".

"Машину кренит вправо".

Он откладывает перо и думает: "Поспать бы". Дремота одолевает, давит на  
виски...

В янтарном свете -- луга, ухоженное поле. Справа деревенька, слева --  
крохотное стадо, и все покрывает голубой свод небес. "Это же дом," --  
думает

Бернис. С новой внезапной ясностью он чувствует: этот мир, это небо и эта  
земля возведены, чтобы служить кровом. Родным кровом, под которым  
царит

порядок. Каждая вещь стоит прямо, надежно, устойчиво. Ни единой угрозы,  
ни

трещинки в этой цельной картине, и сам он -- ее частица.

Так старые дамы глядят из окна гостиной и чувствуют, что бессмертны.  
Зеленеет лужайка, садовник неспешно поливает цветы. Они провожают  
взглядом

его спину -- от нее исходит покой. Паркет натерт до блеска, пахнет воском --  
что за восторг! Кругом совершенный, сладостный порядок: пронесся день, в  
его

свите ветра, и ливни, и солнечный жар, -- и лишь чуточку потрепал  
несколько  
роз...

-- Пора. До встречи. -- И Бернис снова в пути.

Теперь он входит в бурю. Она обрушивает на самолет град ударов --  
словно кирка разносит каменную стену. Но Бернис видал и не такое, он  
прорвется. В голове ни единой мысли, кроме самых простых команд:  
выбраться

из окружения гор (вихри тащат его вниз, в котловину), перескочить их  
острую

грань (дождь надвигается стеной -- темень, как среди ночи), пробиться к  
морю!

Тряхнуло! Поломка? Резкий крен влево. Бернис едва удерживает  
машину:

сперва одной рукой, потом двумя, потом всей тяжестью тела. Проклятье!  
Самолет со всего маху несется к земле. Он погиб! Еще миг -- и его выбросит

навсегда из этого опрокинутого вверх тормашками дома, с которым он только начал сживаться. Равнины, леса и селенья завьются вихрем вокруг него, всколыхнется дым, дымные вихри по всему окоему, всюду дым! И детский, игрушечный мир разлетится на все четыре стороны неба...

"Ага, вот я и сдрейфил!" Наподдать каблуком по тросу -- небось, заклинило. Теперь проверить рулевую тягу. Отказала? Черта с два: все в порядке! Наподдал ногой -- и мир существует дальше. Вот это приключение!

Приключение? То-то же от него ничего не осталось, кроме кислой отрыжки во рту. Но на мгновение перед Бернисом разверзлась пропасть. А все людские игрушки -- дороги, дома, каналы -- оказались лишь видимостью, ширмой, обманом.

Все позади. Обошлось. Снова ясное небо. Как и обещала метеосводка. "Четвертая часть неба в перистых облаках". Так, значит, метеосводка? Изобары? Облачные системы, по профессору Бьеркнессу? Нет же, праздничное небо -- вот что это такое! Небо 14 июля. Почему не сказать просто: "В Малаге сегодня праздник!" И каждый житель получил подарок: десять тысяч метров чистого неба над головой. До самых перистых облаков. Никогда еще небесный водоем не был таким огромным и сияющим. Словно залив перед стартом регаты: синее небо, синее море, синие скалы, синие глаза капитана. Светозарный праздник!

Все обошлось. И для него, и для тридцати тысяч писем.

Почта драгоценна, драгоценней, чем сама жизнь, -- твердила Компания. Конечно -- ведь ею живут тридцать тысяч влюбленных... Потерпите, влюбленные!

Ваши письма прилетят с вечерними огнями. Позади остались этот чан с тяжелыми тучами и взбивающий, перемешивающий их ураган. Впереди -- разодетая солнечными лучами земля, ворс лесов и полотно полей, и чуть морщит парусина моря.

К ночи он будет над Гибралтаром. А там, с поворотом на Танжер, огромный айсберг Европы оторвется от Берниса и поплывет себе по течению...

Несколько городов, вылепленных из бурой земли, -- и Африка. Еще

несколько, из черного теста, -- и под крылом Сахара. Нынче вечером земля раздевается при Бернисе.

Он устал. Два месяца назад он отправился в Париж, чтобы завоевать Женевьеву. Вчера он вернулся на службу, смирившись с поражением. Эти равнины и города, эти уплывающие огни -- он их оставляет, сбрасывает, как одежду. Через час блеснет маяк Танжера -- и до самого маяка, Жак Бернис, ты будешь вспоминать.

## Часть вторая

### I

Я должен вернуться назад и рассказать, что это были за два месяца. Иначе -- что от них останется? Когда понемногу уляжется слабое волнение, поднятое этими событиями, и над их героями, попросту стертыми из жизни, разойдутся, словно на озерной глади, и исчезнут круги, -- когда притупится боль, сперва нестерпимая, потом не столь нестерпимая и, наконец, тихая и ровная, -- тогда я снова поверю в прочность мира. Тогда, как знать, я смогу и побывать там, где всего мучительней должны являться воспоминания о Женевьеве и Бернисе, -- и лишь легкая грусть тронет мне душу.

Два месяца назад он отправился в Париж -- но как заново найти свое место, когда тебя так долго не было? Ты словно попусту загромождаешь город.

Вот он, Жак Бернис -- человек в пронафталиненном пиджаке. Он движется скованно и неловко, а вещи, уж так аккуратно составленные в уголок, выдают ненадежность, недолговечность жилья: эту комнату не покорили книги и белизна простынь.

-- Алло. Это ты?

Бернис выкликает на поверку друзей. Возгласы, поздравления:  
"Пропадающая  
душа, наконец-то!"

-- Ну что, когда увидимся?

Как раз сегодня тот занят. Завтра? Завтра у него гольф, но можно присоединиться. Бернис не хочет? Ну, значит, послезавтра. Ужинаем вместе.

Ровно в восемь.

Он заходит в дансинг, среди разряженных жиголо остается в плаще, как в скафандре исследователя. Ночь за ночью они крутятся здесь, как пескари в аквариуме, оттачивают мастерство мадригала, отплясывают, не забывая о выпивке... В этой зыбкой среде Бернис чувствует себя грузчиком-тяжеловесом:

он один прочно стоит на ногах, он один не потерял рассудка, и его мысли не расплываются туманным маревом. Между столиками он пробирается к свободному

месту. Женщины, встречая его взгляд, опускают сразу гаснущие глаза.

Молодые

люди ловко уклоняются с его пути. Так ночью дежурный офицер обходит посты, и

часовые один за другим роняют сигареты.

Каждый раз мы открывали этот мир заново -- так бретонские моряки, возвращаясь, заново открывают свою деревушку, застывшую, как на почтовой

открытке, и такую верную, почти не постаревшую без них невесту. Разве может

измениться картинка из книги вашего детства? И когда все опять оказывалось в

точности на том же месте, в точности как назначено судьбой, нас охватывал смутный страх. Вот Бернис спрашивает о друге -- в ответ: "Как тебе сказать... Он все тот же. Дела? Да потихоньку. Ну, понимаешь... Жизнь как жизнь". Всякий был заточен в самом себе и влачил неведомые оковы -- не то

что он, беглец, беспризорник, чародей.

Лица его друзей слегка изветшали за два лета и две зимы. Вон женщина в уголке бара -- Бернис ее узнает. И у нее чуть усталое лицо: пришлось изобразить столько улыбок. Бармен тоже прежний. И Бернису становится

страшно, что его узнают, окликнут, -- как будто этот оклик воскресил бы в нем прежнего Берниса, бескрылого, не способного на побег.

Он возвращался -- и вокруг него понемногу заново возводились тюремные стены. Пески Сахары и скалы Испании понемногу отступали, словно театральные

декорации, из-за них сквозил реальный мир. Наконец, уже по эту сторону границы, расстелил свою равнину Перпиньян. Косыми, длинными пятнами лилась

солнечная лава, и с каждым мигом меркла брошенная там и сям на траву золотая

парча, с каждым мигом -- бледнела, ветшала, даже не гасла, а испарялась. Синеющий воздух сгушался в мягкий, темный зеленый ил. Недвижное морское дно.

Приглуши мотор -- и ко дну, туда, где все обретает покой, становится очевидным и незыблемым, как стена.

А потом -- автобус от аэропорта до вокзала. Суровые, замкнутые лица напротив. Заскорузлые -- слепок всей жизни -- ладони тяжело легли на колени.

Это крестьяне возвращаются с полей. А вон девушка стоит у ворот -- ждет мужчину, одного из сотни тысяч; она уже отказалась от ста тысяч надежд.

И

мать укачивает ребенка -- в своем добровольном заточении, ей заказан побег.

Пилот, вернувшийся на родину налегке, без багажа, руки в карманы, -- Бернис, оказалось, потаенной тропкой проник в самую тайную вотчину вещей. В

незыблемый мир, где не сдвинешь ни на пядь край надела или ограду парка --

разве что двадцатилетней тяжбой.

И это после двух лет в Африке, с ее подвижными и переменчивыми, как морская зыбь, видами -- но ведь за ними, в конце концов, обнажалась единственная, древняя, вечная картина, из которой он выступил, скорбный архангел, чтобы обрести под ногами настоящую почву.

"И вот -- все то же самое..."

Прежде он боялся, что все здесь изменилось, а теперь страдал от того, что все по-прежнему. Он больше ничего не ждал ни от дружеских встреч, ни от

свиданий -- пустое, смутная тоска. Там, вдалеке, столько себе напридумываешь! Расставание с милыми сердцу -- зарубка, болезненный шрам, но

тут же и странное чувство, будто, уезжая, оставил надежно упрятанное под землей сокровище. Порой лишь бегство обнаруживает, как много утаено любви.

Однажды ночью в Сахаре, среди звездного племени, он грезил о нежных узах,

живых и теплых там, вдали, прячущихся под кровом ночи, словно зерно в земле,

-- и вдруг его пронзило острое чувство: ведь он только чуть отошел в сторону, чтобы оберегать их сон! Опершись на разбитый самолет, затерянный

среди песчаных волн, изогнувших черту горизонта, он охранял своих друзей  
и  
возлюбленных, как пастух...

"Что же я нашел, вернувшись?"

И однажды Бернис написал мне.

... Мне нечего сказать о моем возвращении. Я чувствую себя человеком, когда в ком-то встречаю отклик. А здесь ни в ком ничто не дрогнуло. Я был как паломник, слишком долго добравшийся до Иерусалима. Его страсть, его

вера уже иссякли: теперь Иерусалим для него -- мертвые камни. Так и этот город для меня -- стена. Хочу уехать. А помнишь тот первый вылет? Когда ты

был со мной? Гранада и Мурсия лежали безделушками под стеклом, но мы летели

мимо, и они погружались обратно в свои минувшие века. Настоящим был только

плотный гул мотора, а за ним тянулась, как фильм, немая череда картин. А этот холод -- мы ведь шли на большой высоте, -- города внизу, казалось, вмерзли в лед. Помнишь?

Я сохранил записки, которые ты мне передавал:

"Странно дребезжит, слышишь? Усилится -- в ущелье не входи."

Через два часа, над Гибралтаром: "Подожди пересекать -- лучше у Тарифы".

Перед Танжером: "Заходи издалека: полоса тяжелая".

Просто. Но с такими словами покоряют мир. Я постигал способ действий,

всесильный благодаря этим кратким приказам. Танжер, заштатный городишко, был

моей первой победой. Понимаешь ты -- первый боевой трофей! Сначала заходишь

с высоты -- нет, слишком далеко. Снижаешься -- из земли вылупляются дома,

лужайки, цветники. Я возвращаю на свет божий поглощенный землей город, он

снова живой! И вдруг чудесное открытие: в пятистах метрах подо мной -- пахарь-араб, я подтягиваю его к себе, довожу до собственных размеров, -- он будет моей военной добычей, моим творением, моей игрушкой. Я взял заложника,

теперь Африка моя!

Две минуты спустя я стоял в траве. Я был такой юный, словно высадился на неведомую звезду, где заново рождается жизнь. Словно это новый мир.

Я чувствовал себя ростком, только что проклюнувшимся из этой почвы, под этим

небом. Я потягивался с дороги, чувствуя восхитительный голод. Я шагал широко и упруго, чтобы размяться, и смеялся от радости, что мы с моей тенью снова вместе, -- вот что значит приземление.

А тамошняя весна! Помнишь ту весну, после серой, дождливой Тулузы? И

всюду воздух, совсем новенький. И в каждой женщине своя тайна: у одной жест, у другой выговор, у третьей -- молчание... И все они желанны. Ну, а потом -- ты же меня знаешь! -- снова мчатся куда подальше, снова искать что-то, чего

не понимаешь, хоть и предчувствуешь... Ведь я и есть искатель родников, пустившийся по свету с дрожащей веточкой в руке за своим подземным кладом.

Так скажи мне, чего же я ищу, и почему, глядя из окна на город моих друзей, моих страстей, моих воспоминаний, -- я в отчаянии? Почему впервые в жизни я не нахожу родника, и почему так далек от моего клада? Что за смутное обетование мне дал неведомый бог, и почему не исполняет его?

Я нашел свой родник. И ты его помнишь. Это Женевьева...

Женевьева, на этих словах Берниса я закрыл глаза и увидел вас девочкой. Пятнадцатилетней (нам было по тринадцать). Разве могли вы повзрослеть в нашей памяти? Вы остались прежней для нас: мы думали о хрупком ребенке, когда о вас заходила речь, и тот же ребенок представал нам, когда мы отваживались на встречу.

Другие вели к алтарю зрелых женщин -- мы с Бернисом из глубин Африки называли невестой маленькую девочку. В свои пятнадцать вы были самой юной из матерей. В возрасте, когда еще обдирают о ветки голые икры, вы требовали королевскую игрушку -- настоящую колыбель. И пускай для своих, не ведавших о чуде, вы притворялись обыкновенной, -- мы видели в вас ожившую сказку, через волшебную дверцу вы проскальзывали в мир, как на маскарад, одевшись женой, матерью, феей..

Вы и были феей. Я же помню. Вы жили в старом-престаром доме, вас

укрывала толща стен. Вижу как сейчас: у окна, больше похожего на бойницу, облокотясь, вы подстерегаете луну. И она всходила. И равнина начинала звучать, ударив во все свои трещотки, гремушки, колокольцы: на крыльях цикад, в горлышках лягушек, на шеях бредущих с пастбища волов.

Луна всходила. Иногда из деревни разносился погребальный звон, возвещая кузнечикам, и цикадам, и злакам в поле о непостижимой смерти. И вы высывались из окна, тревожась только за обреченных, -- ведь нет ничего уязвимей надежды. Но луна всходила. И тогда, заглушая колокол, совы звали

друг друга к любви. Бродячие собаки, усевшись кружком, выли на луну. И

каждое дерево, каждая метелка камыша, каждая травинка были живыми. А луна всходила.

И вы брали нас за руки и заставляли прислушаться: ведь это были голоса земли, они ободряли и были добры.

Этот дом и живой наряд окрестной земли были вам такой надежной защитой.

Столько союзов вы заключили с липами, дубами, с животными, -- мы вас звали

их принцессой. Но лишь к вечеру, когда мир постепенно отходил ко сну, ваше

лицо обретало покой. "Стадо вернулось в хлев." -- Вы читали эту новость в далеких огоньках фермы. А вот и глухой шум: "На канале закрывают шлюзы". Все

было в порядке. Наконец, грозой пронеслся, прорезая округу, семичасовой

скорый -- и с ним из вашего мира исчезало все тревожное и неверное, словно

чье-то бледное лицо за стеклом вагона. И давался ужин в огромной, полутемной

столовой -- там-то (мы следили неустанно, как шпионы) ты и становилась королевой ночи. Ты безмолвно садилась между стариками, среди обшитых деревом

стен, ты наклоняла голову, и только на волосы лилось золото из абажура, -- так, коронованная светом, ты царила. Нам казалось, ты бессмертна -- так тесны были узы, связавшие тебя с вещами, так прочна твоя уверенность в них,

в своих мыслях, в своем будущем. Ты царила...

Но мы хотели знать, как заставить тебя страдать, как сдвинуть тебя в объятьях, чтобы ты задыхалась, -- мы чувствовали, в тебе живет что-то еще, и

жаждали извлечь это на свет божий, увидеть в твоих глазах нежность или

печаль. Бернис обхватывал тебя руками, и ты краснела. Бернис сжимал крепче  
-- в твоих глазах сверкали слезы, но губы не кривились уродливо, как у плачущих старух. Эти слезы, говорил мне Бернис, -- от внезапно переполнившегося сердца, они драгоценней алмазов и кто их выпьет -- обретет бессмертие. А еще он говорил, что ты живешь внутри своего тела, как фея под водой, и он знает тысячу колдовских чар, вызывающих тебя на поверхность, а самый верный способ -- чтобы ты заплакала... Так мы воровали у тебя любовь.  
Но стоило тебя отпустить -- ты смеялась, и мы терялись. Так выпархивает птица, чуть разожмешь ладонь.

-- Женестьева, почитай нам стихи.

Ты читала немного, а нам уже казалось, ты знаешь все на свете. Мы никогда не видели тебя удивленной.

-- Почитай еще.

Ты читала еще, мы внимали урокам жизни и мироздания, преподанным не поэтами, а твоей мудростью. И отчаяние любовников, и печали королев обретали в твоём голосе глубину и величие, и сама смерть от любви звучала так спокойно...

-- Женестьева, а от любви правда умирают?

Ты прерывалась, погружаясь в раздумье. Ты, конечно, искала ответа у папоротников, кузнечиков, пчел -- и отвечала "да": ведь пчелы умирают от любви. Так нужно -- это не нарушало твоего покоя.

-- Женестьева, а что значит любовник?

Как нам хотелось, чтобы ты покраснела! Ты не краснела. Но уже не так безмятежно смотрела на лик луны в колеблемых водах пруда. И мы думали: для тебя любовник -- как лунный свет.

-- Женестьева, а у тебя есть любовник?

Уж теперь-то ты покраснеешь! Но нет. Ты улыбалась, как ни в чем не бывало. Ты качала головой. В твоём королевстве было время цветов и время плодов, было и время любви -- ведь жизнь проста.

-- Женестьева, знаешь, что мы будем делать дальше?

Нам хотелось тебя, наконец, обескуражить, и мы называли тебя: слабая женщина.

-- Мы станем завоевателями, слабая женщина!

Мы тоже могли научить тебя жизни: завоеватели возвращаются, обремененные славой, и берут в наложницы былых возлюбленных.

-- И мы будем твоими любовниками! Читай стихи, рабыня...

Но ты больше не читала. Ты откладывала книгу. Твоя жизнь вдруг казалась тебе такой непреложной -- так, должно быть, проклюнувшийся из земли росток чувствует, как живые соки превращают его в юное дерево. В ней больше не было ничего лишнего. Мы-то были завоевателями в мечтах, а вот ты -- ведь это тебе служили опорой папоротники и пчелы, овцы и звезды, это ты внимала голосам лягушек, твоя уверенность росла из всего живого, распускаясь вокруг тебя в ночной тиши и поднимавшегося в тебе самой от лодыжек до темени, -- навстречу невыразимой и тем более незыблемой судьбе.

И так как луна уже взошла высоко -- пора было спать, -- ты затворяла окно, и луна отражалась в стекле. И мы говорили, что ты затворила небо, и теперь луна с горсткой звезд заперты под стеклом, -- потому что всеми этими символами, всеми этими ловушками мы старались завлечь тебя с кромки видимостей на дно морское, куда звала нас наша тревога.

... Я снова нашел свой родник. Это она мне нужна, чтобы отдохнуть от скитаний. Она -- здесь. А другие... Помнишь, мы говорили о том, как много женщин, когда отхлынет любовь, оказываются отброшенными назад, к далеким звездам, -- потому что они всего лишь выдумка нашего сердца. А Женевьева -- помнишь, мы говорили и об этом, -- наш, обитаемый мир. Я нашел ее снова, как заново обретают смысл жизни, и я иду рядом с ней по миру, открывая наконец его суть...

Она являлась ему посланцем вещей. После тысячи разрывов она скрепляла тысячу его браков. Она вновь дарила ему этот бульвар, этот фонтан, эти каштаны. В каждой вещи снова жила тайна -- душа. Этот парк больше не был подстрижен, приглажен и ободран, на вкус заезжего американца, -- в его аллеях там и тут беспорядок, сухая листва, а вон любовники выронили носовой платок... И парк становился западней.

Она никогда не говорила с Бернисом об Эрлене, своем муже, -- и вот сегодня: "Жак, будет такой скучный прием, толпа народу... Пойдемте с нами, мне будет не так одиноко!"

Эрлен оживлен. Слишком. Откуда столько самодовольства -- ведь в жизни он не такой? Она смотрит на него с тревогой: человека не видно за персонажем, которого он сам придумал. И не ради тщеславия, а чтобы поверить в себя.

-- Ваше замечание, мой друг, безусловно справедливо.

Ей противно, она отворачивается: что за тон, что за важный жест, что за напускное самомнение!

-- Гарсон! Сигар!

Она не помнит его таким возбужденным -- кажется, он опьянен властью. С

подмостков банкетного зала легко править миром. Одно слово -- и чужая мысль

опрокинута. Одно слово -- и официант с метрдотелем срываются с места.

Женевьева слегка улыбается, не понимая: к чему этот прием? Что за блажь, вот уже полгода, -- игра в политику? Эрлен хочет верить в свои силы -- и для этого ему достаточно почувствовать силу усвоенных им принципов, разделенных им идей. Тогда он может отойти в сторонку -- и с восторгом созерцать собственную статую.

Довольно, пусть играют без нее, -- и Женевьева оборачивается к Бернису:

-- Ну, блудный сын, расскажите мне о пустыне... Когда же вы вернетесь насовсем?

Бернис смотрит на нее.

Как в волшебной сказке, Бернис угадывает в незнакомой женщине ту пятнадцатилетнюю девочку -- и она улыбается ему: едва заметно -- но прячущийся ребенок выдал себя. Женевьева, я ведь не забыл своего колдовства:

вам надо обнять, стиснуть крепче, чтобы вам стало больно, -- и та девочка явится на свет и заплачет...

Между тем мужчины склоняют к Женевьеве белые манишки и пускают в ход

ремесло соблазнитель: как будто женщину можно завоевать идеями и принципами, как будто женщина -- награда в их состязании. Ее муж тоже становится ужасно обходительным: сегодня ночью он ее захочет. Она снова

желанна для него, когда желанна для других. Когда женщина в вечернем платье,

в центре внимания, сама хочет нравиться, -- словом, в ней чуть проглядывает куртизанка. Ему нравится заурядное, думает Женевьева. Но почему никто не любит ее целиком? Только какую-то частицу -- а все остальное так и остается в тени? Ее любят -- как музыку, как роскошь. Она остроумна или нежна -- поэтому ее хотят. А как же то, во что она верит, что чувствует, что таит? И любовь к сыну, и житейские, такие важные заботы, -- выходит, все это никому не нужно?

Рядом с ней мужчины теряют свое лицо. Они готовы вслед за ней расстраиваться и надеяться -- лишь бы понравиться, они словно говорят: "Я буду таким, как вы пожелаете". Так и есть. Им все равно. Они только хотят с ней спать.

Но ведь она не может вечно думать о любви -- ей просто некогда!

Она с улыбкой вспоминает первые дни после помолвки. Вот Эрлен снова обнаруживает, что влюблен (конечно, он успел об этом забыть!). Он должен поговорить с нею, приручить, покорить -- "Знаешь, мне некогда..." Она шла впереди него по дорожке, хлесткими движениями прутика сбивая, в такт песенке, молоденькие ветки. Славно пахло влажной землей. Веточки в ответ хлестали ее по лицу, как дождь. И она твердила себе: "Мне некогда... некогда..." Нужно сперва заглянуть в теплицу -- как там цветы?

-- Женевьева, вы жестокое дитя!

-- Разумеется. Взгляните на мои розы -- они клонятся от тяжести! Разве не прекрасен цветок, который клонится от тяжести?

-- Женевьева, позвольте вас обнять...

-- Разумеется. Почему бы нет? Вам нравятся мои розы?

Мужчинам всегда нравятся ее розы.

-- Нет-нет, милый Жак, я вовсе не грущу! -- Она чуть подалась к Бернису. -- Я помню, я была забавная девчонка. Я придумала себе Бога на свой

вкус. Если со мной случалось какое-нибудь детское горе, я плакала о непоправимом весь день. А ночью, едва задувают лампу, обращалась к моему

покровителю с молитвой -- и говорила так: вот что со мной стряслось -- и поправить мою пропащую жизнь мне не под силу. Так что я все отдаю вам: ведь

вы же куда сильнее меня. Вот и выпутывайтесь! -- И я засыпала...

И потом ей было покорно многое и многое в не слишком надежном мире. Она царила над книгами, цветами, друзьями. Она заключала с ними союзы. Ей всякий

раз был ведом особый знак, вызывающий улыбку, единственный для каждого  
пароль: "Ах, это вы, мой старый звездочет..." Или, когда пришел Бернис:  
"Садитесь, садитесь, блудный сын..." Каждого связала с ней тайна -- и  
счастье быть разгаданным и раскрытым. Самая невинная дружба  
волновала и  
тревожила, как преступление.

"Да, Женевьева, -- говорил Бернис, -- вы и всегда царили над вещами".

Стоило ей чуть переставить мебель в гостиной, подвинуть кресло -- и  
изумленный друг внезапно понимал: здесь -- его настоящее место. День  
пролетал, оставляя после себя тихий сумбур -- обрывки музыки, смятые  
цветы,

и какой там еще разор учиняет человек на земле. И Женевьева  
потихоньку

водворяла мир в своем королевстве. А Бернис чуял: глубоко-глубоко в ней  
укрыта, надежно спрятана та далекая девочка, которая его любила...

Но однажды вещи взбунтовались.

### III

-- Дай мне поспать.

-- Это невыносимо! Вставай, ребенок задыхается!

Вырванная из сна, она бросилась к кровати. Ребенок спал, личико  
взмолкло от жара, дышал часто, но ровно. Не проснувшейся толком  
Женевьеве

представилось: натужно пыхтит на реке буксир. "Какой тяжкий труд!" И так  
уже

три дня! Не в силах ни о чем думать, она так и стоит, склонясь над больным.

-- Почему ты сказал, что он задыхается? Зачем ты меня пугаешь?

Сердце ее все еще бешено стучало.

-- Мне показалось.

Она знала, что он лжет. Не умея страдать в одиночку, он хотел взвалить  
на нее часть своего страха. Когда он страдает -- покой вокруг непереносим! А  
ей, после трех ночей без сна, так нужен покой, хоть часок передышки! Она  
уже

не понимала, где она и что с ней...

Она прощала ему эти бесконечные вымогательства -- ведь слова... Слова  
ничего не значат. Да и сном своим дорожить смешно.

-- Как это глупо, -- только и сказала она. И добавила, щадя его:

-- Что ты как маленький...

И тут же спросила у сиделки, который час.

-- Двадцать минут третьего.

-- Не может быть! -- Женева повторила: -- Двадцать минут третьего...  
Как будто у нее какое-то срочное дело. Да нет, делать нечего, только ждать -- как в дороге. Она оправила кровать, прибрала склянки с лекарствами, коснулась окна. Она наводила незаметный, таинственный порядок.

-- Вы бы все-таки поспали, -- сказала сиделка.

Снова тишина. Снова этот гнет в груди, как в дороге, когда за окном незримо мчатся чужие края.

-- Малыш, которым любовались, которого лелеяли... -- декламировал Эрлен. Он домогался ее сострадания. В роли несчастного отца...

-- Найди себе занятие, дорогой, сделай что-нибудь! -- мягко советовала Женева. -- У тебя была встреча назначена -- сходи.

Она даже подталкивала его в спину -- но он лелеял свое горе:

-- Как ты можешь! В такую минуту...

"В такую минуту," -- говорила себе и Женева, но... но как никогда, странное дело, ей был нужен порядок. Ваза не на месте, сползающий на пол плащ Эрлена, пыль на столике -- это... это шаг за шагом наступает враг. Что-то темное, поднимаясь со дна, взламывает, рушит мир. И она боролась с надвигающейся темнотой. Золото безделушек, все стулья на своих местах - светлая кромка реальности. Женева казалось, что все здоровое, чистое, блестящее защищает от смертной тьмы.

Врач говорил: "Все еще может обойтись: мальчик сильный". Конечно. Как он цеплялся за жизнь, сжимая во сне маленькие кулачки! Это давало отраду.

Это давало уверенность.

-- Вам надо пройтись, обязательно, -- говорила сиделка. -- Потом и я выйду. Так нам не выдержать.

Странно было видеть, как этот малыш выматывает двух женщин. С закрытыми глазами, часто дыша, он вытаскивал их за собой на край жизни.

И Женева выходила на улицу -- лишь бы бежать от Эрлена. Он поднимался на трибуну: "Мой самоочевидный долг... Дело твоей чести..." Она ничего не понимала, ее клонило в сон, но какие-то слова мимоходом изумляли ее: "честь" -- какая честь? Что вообще происходит?

А врача изумляла эта молодая женщина: ни слезинки, ни единого бесполезного слова, и всегда под рукой, как образцовая сестра милосердия. Он восхищался этой маленькой служительницей жизни. А для Женева его приход

был лучшим мгновением дня. Нет, врач не утешал ее. Но он был здесь -- и это  
детское тельце оказывалось точно на своем месте. Все тягостное,  
болезненное  
и смутное было названо -- и тем вытеснялось вон. Какая поддержка в ее  
борьбе  
с тьмой! И даже позавчерашняя операция... Эрлен хныкал в гостиной. Она  
осталась. Хирург вошел в комнату в белом халате -- как, спокойно и  
могущественно, является день. Вместе с ассистентом он бросился в  
стремительный поединок. "Хлороформ!" "Зажать!" "Йод!" -- отрывистые  
приказы  
ровным голосом, без тени эмоций. И вдруг, как Бернису в его самолете, этот  
способ действий открывал Женевьеве свое всеисилие: так куется победа.

-- Как ты можешь спокойно смотреть? -- говорил Эрлен. -- Да у этой  
матери нет сердца!

Наутро врач пришел снова -- и вдруг она тихо соскользнула с кресла:  
обморок. Очнувшись, она не услышала от него ни слова жалости,  
никаких

призывов надеяться и мужаться. Он смотрел на нее сурово:

-- Вы переутомляетесь. Это легкомысленно. Я приказываю: сегодня вы  
должны пойти отдохнуть. В театр не стоит, людям этого не понять, но  
что-нибудь в этом роде.

И подумал про себя: "Вот высшая подлинность -- никогда такой не  
встречал".

На бульваре было необычайно свежо. И вдруг детские воспоминания  
затопили ее безмятежностью. Деревья, лужайки -- что может быть проще?

А

когда потом, много-много позже, родился ее малыш -- это было непостижимо  
и в

то же время еще более просто: самая очевидная очевидность. Она служила  
ему

-- и вокруг все было живым и светлым. Никакими словами нельзя было  
выразить

то, что она тогда ощутила. Это была... Да, пожалуй, это была мудрость. И  
уверенность в себе, и узы, связующие с миром, -- словно ты голос в  
огромном

хоре. В тот вечер она попросила придвинуть кровать к окну. Деревья жили,  
росли, пили из земли весну -- и она была им ровней. Рядом тихонько дышал  
ее

ребенок, приводя весь мир в движение, вдыхая в него жизнь.

Но вот уже три дня все рушится. Самое простое действие -- открыть окно  
или закрыть его -- чревато страшными последствиями. Не знаешь, на что  
решиться. Трогаешь простыни или лекарства, прикасаешься к ребенку -- и  
не

представляешь, к чему это приведет в изменившемся, темном и страшном мире.

Она проходила мимо антикварной лавки. Безделушки в гостиной всегда казались ей приманками для солнца. Женеьеве нравилось все, что притягивает свет, сверкающая кромка реальности. И сейчас ее остановила безмолвная, как у старого доброго вина, улыбка хрустала. В усталом сознании сливались воедино свет, здоровье, вера в жизнь, и ей так захотелось внести к ускользящему малышу этот золотой гвоздик -- отблеск солнца.

#### IV

Эрлен опять за свое:

-- Да есть ли у тебя сердце? Она развлекается, она разгуливает по антикварам! Не прощу, никогда не прощу! Это... -- Он не находил слов. -- Это чудовищно, это непостижимо, это недостойно матери! -- Он машинально вытащил сигарету и теперь размахивал красным портсигаром. -- Уважай хотя бы себя...

"Когда же он, наконец, закурит," -- только и думала Женеьева.

-- Да, разумеется, -- медлил Эрлен, приберегая под занавес последнее разоблачение. -- Разумеется... Мать пошла развлекаться, а у ребенка кровавая рвота!

Женеьева побледнела. Она рванулась из комнаты, но он первым оказался у дверей:

-- Нет, стой!

Он тяжело дышал, как зверь. Сколько он тут вынес в одиночку -- но теперь она заплатит!

-- Ты сделаешь мне больно -- и сразу пожалеешь об этом, -- просто сказала ему Женеьева.

Кому? Этому надутому пузырю, никчемному перед лицом реальности? По нему как ударили бичом -- и его понесло, и полилась декламация. Разумеется, она всегда была кокетливой пустышкой, не ценила его усилий. А он-то, простофиля, отдавал ей всего себя! Разумеется, -- но это ничего, ведь страдал всегда он один, он всю жизнь один... Измученная Женеьева хотела отвернуться -- но

Эрлен удержал ее, чтобы отчеканить прямо в лицо:

-- Женским грешкам приходит расплата!

Она вырывалась -- и он должен был пригвоздить ее:

-- Ребенок умирает -- вот Божий перст!

Его ярость мгновенно стихает, как после убийства. Это слово вырвалось само, он сам оглушен. Женестьева, побелев, делает шаг к двери. Он догадывается, как выглядит в ее глазах, -- а он-то хотел показать свое благородство! Нужно стереть этот образ, исправить, навязать другой -- мягкий

и добрый! И он произносит упавшим голосом:

-- Прости... не уходи... я сошел с ума...

Вполоборота, рука на дверной ручке, она словно дикий зверек -- ринется прочь, стоит ему шелохнуться. Он не шелохнется.

-- Постой... я только хотел сказать... это так тяжело...

Она замерла -- чего она боится? Его бесит этот пустой страх. Он признается, что был безумен, жесток, несправедлив, что она одна права, но сначала она сама должна подойти, проявить доверие, распахнуть перед ним свою

душу. И тогда он унижится перед ней! И тогда она поймет!.. Но она уже открывает дверь.

Он резко хватает ее за руку. Она смотрит на него с сокрушительным презрением. Он упорствует: нужно любой ценой удержать ее под своей властью,

показать свою силу, нужно сказать: "Смотри, ты свободна".

И он потянул эту хрупкую руку к себе -- сперва легонько, потом крепче. Она подняла другую, готовая дать пощечину, -- он схватил и ее. Теперь он делал ей больно. Он чувствовал, что делает ей больно. Так ребенок, схватив кошку, старается силой ее приручить, насильно приласкать -- и чуть не душил.

А хотел быть нежным. "Ей больно, все пропало!" -- Эрлен тяжело дышал. На

мгновение его охватило безумное желание: задушить этот ужасный свой образ,

который он вызвал в ней, задушить вместе с ней самой.

Наконец он разжал пальцы -- с отчужденным чувством бессилия и пустоты.

Она не спеша отстранилась, как будто и вправду больше нечего бояться, как

будто вдруг стала неуязвимой. Его не существовало. Она помедлила, неторопливо поправила волосы и, выпрямившись, вышла.

Вечером Бернис пришел ее проведать -- она ничего не сказала. В таком не признаются. Она просила -- и он то вспоминал их детские годы, то рассказывал

о своей жизни в далеких краях. И это значило: она доверяет ему маленькую девочку, которую нужно утешить, -- а девочек утешают сказками.

Женевьева уткнулась головой в его плечо и, Бернису верилось, укрылась целиком в этом прибежище. Верилось и ей. И оба, конечно, не подозревали, какая малая часть человека отвечает чужой ласке.

## V

-- Вы у меня, Женевьева, в такой час... Вы так бледны!

Женевьева молчит. Несносное тиканье стенных часов. Свет от лампы пополам с предрассветным мерцанием из окна -- от этой тошнотворной микстуры

бросает в лихорадку. Женевьева перебарывает себя:

-- Я увидела, у вас горит свет, и пришла... -- Больше не выговорить ни слова.

-- Да, Женевьева, я... я, видите, разбираю книги...

Красные, желтые, белые пятна обложек. "Как лепестки," -- думает Женевьева. Бернис ждет. Она недвижна.

-- Я замечтался тут, в кресле, раскрывал одну книжку за другой, мне казалось -- все уже читаны...

Чтобы не выдать волнения, он играет этакое все повидавшего старца -- и голос, спокойнее некуда:

-- Вы хотели поговорить со мной, Женевьева?

А в душе у него проносится: "Это любовь сотворила чудо".

У Женевьевы лишь одна мысль: он не знает... Она недоуменно смотрит на него и почти кричит:

-- Жак, я пришла...

Она проводит рукой по лбу. Окно белеет, заливая комнату искусственным

светом, словно это аквариум. "Лампа вянет," -- думает Женевьева. И вдруг отчаяние прорывается:

-- Жак, Жак, увезите, унесите меня с собой!

Бернис бледнеет, обхватывает ее руками, убаюкивает.

Женевьева закрывает глаза:

-- Вы меня увезете...

Она уткнулась ему в плечо -- и время летит над ним, не причиняя ей боли. Почти радостно от всего отрешиться: отдаешься течению, и оно уносит

тебя, кажется, это утекает твоя жизнь... "Не причиняя мне боли," -- грезит

вслух Женевьева.

Бернис ласкает ее лицо. И тут в ней поднимается: "Пять лет, ведь уже пять лет... как же это?" И новая мысль: "Я столько ему отдала..."

-- Жак! Жак... Мой сын умер...

-- Видите, Жак, я сбежала из дома. Мне так нужно немного покоя. Я еще ничего не поняла, мне еще не больно. Может, и вправду у меня нет сердца? Вокруг плачут, пытаются меня утешать. Умиляются своей добротой.

Понимаешь...

Я еще не вспоминаю.

Тебе я все могу рассказать. Смерть приходит среди такого переполоха: уколы, перевязки, телеграммы врачам... После нескольких бессонных ночей

кажется -- это все во сне. Во время консилиума прислонишься головой к стене,

а голова пустая.

И эти стычки с мужем, что за напасть! Сегодня, незадолго до... Он схватил меня за руку, мне показалось, сейчас сломает. Все из-за укола. Но я же знала -- еще не пора. Потом просил прощения -- к чему это? Я ответила: "Ладно, хорошо, я пойду к сыну". Он загородил дверь: "Нет, прости меня!

Мне

нужно твое прощение!" Просто каприз. "Послушай,пусти меня! Я прощаю". --

"Да, на словах, но не от души". И снова, и снова, я чуть с ума не сошла.

И знаешь, когда все кончено, никакого отчаяния нет. Даже странно: тишина, покой. Мне казалось... казалось, малыш спит. Только и всего. А еще

мне казалось, что это пристань -- где-то очень далеко, бог знает где; я причалила к ней на рассвете и не понимаю, что дальше делать. Я думала: "Вот

мы и приехали". Я смотрела на шприцы и лекарства -- и повторяла про себя:

"Все это ни к чему... мы приехали". И я потеряла сознание.

И вдруг ее пронзает: "Что я здесь делаю, это безумие!"

Там, она чувствует, первые лучи дня освещают пейзаж после крушения. Скомканные, остывшие простынки. Полотенца раскиданы по комнате, перевернутый

стул. Скорее собраться с силами и противостоять разгрому. Скорее расставить

по местам кресло, вазу, книги. Измотать себя в тщетных попытках восстановить

связь вещей, обрамлявших жизнь.

## VI

К ней являются с соболезнованиями. Осторожно подбирают слова. И, чтобы не беречь горьких воспоминаний, ими же вызванных, -- бестактно молчат. Она собрана, не согнута горем. Она твердо произносит слово, которого все избегают: смерть. Они не услышат в ней отзвука своих фраз! Она смотрит людям прямо в глаза, чтобы не смели ее разглядывать, -- но едва она отводит взгляд...

А иные... До самой прихожей они идут совершенно спокойно, но на пороге гостиной, пошатнувшись, делают несколько порывистых шагов и падают в ее объятия. Ни слова. Она не скажет им ни слова. Они прижимают ее к груди, как будто хотят задушить в ней горе, -- но у них в руках бьется рассерженный ребенок.

А муж все твердит о продаже дома. "Воспоминания так измучили нас!" Он лжет: страдание -- почти друг. А он суетится, он ведь любит эффектные жесты. Сегодня вечером он едет в Брюссель. Ей придется ехать следом. "Но если бы вы знали, какой разор в доме..."

Все ее прошлое рухнуло. Эта гостиная, обустроенная с любовью и терпением. Эта мебель -- ее выбрал не муж, не поставщик, а само время. Не гостиная обставлена этими вещами -- ее жизнь. Стоит отодвинуть кресло от камина, а столик от стены, -- и с прошлым порвано, все вокруг предстает голым и незащищенным.

-- А вы? Вы тоже уезжаете?

В чуть заметном движении столько отчаянья.

Тысяча союзов распалась. Неужели один малыш удерживал в своих руках все узы, скреплявшие мир? Неужели он и был движущей силой, утверждавшей в мире порядок? Его смерть стала для нее крахом. И она не может сдержаться:

-- Мне так плохо...

Бернис отвечает ей нежностью:

-- Я возьму вас с собой. Уедем. Помните, я же обещал вам, что вернусь. Я вам обещал...

Бернис сжимает ее в объятьях, Женевьева чуть запрокидывает голову, ее глаза блестят от слез, -- в плену его рук снова та маленькая заплаканная девочка.

Кап-Джуби, 192... г., ...

Бернис, старина, сегодня у нас почта. Самолет уже вылетел из Сиснероса. Скоро он будет здесь и захватит для тебя несколько горьких слов. Я много думал о твоих письмах и о нашей пленной принцессе. Вчера я бродил по берегу

-- и подумал, что мы сами, как этот берег: такой пустынный и голый, вечно омываемый морем. Не знаю даже, существуем ли мы на самом деле. Ты ведь

видел, как в иные вечера, в печальных лучах заката, тонет в море опрокинутый

испанский форт. Но это отражение, переливающееся таинственным голубоватым

блеском, -- совсем из другого теста, чем настоящий форт на сверкающем от

солнца пляже. Вот это отражение и есть твоя стихия. Не слишком подлинная, не

слишком надежная. А Женевьева оставь живую жизнь.

Конечно, сейчас она в полной растерянности. Но в жизни мало настоящих

драм. Дружба, нежность, любовь так редки, что и теряешь их очень редко. А

Эрлен -- какой бы он ни был, один человек не слишком много значит. Я думаю,

жизнь основана на другом.

Обычай, условности, правила -- все, что тебе ни к чему, от чего ты бежал... Но они-то и очерчивают жизнь Женевьевы. Что-то прочное, устойчивое

должно быть вокруг нее -- иначе как жить? Пусть даже оно нелепо или несправедливо -- зато образует цельный язык. Умчавшись с тобой,

Женевьева

потеряет себя.

И потом, понимает ли она, что ей нужно? Та же привычка к богатству, которой она не осознает. Ну да, с деньгами можно многим овладеть, добиться

наружного успеха, -- а она живет внутренней жизнью. Но прочными, долговечными делает вещи богатство. Этот незримый подземный источник веками

питал ее воспоминания, ее душу -- стены ее крова. Ты же опустошишь ее жизнь

-- как пустеет дом без тысячи незаметных мелочей, из которых он и состоял.

Я могу понять: для тебя любить значит заново рождаться. Тебе кажется, что ты увезешь с собой новую Женевьеву. Любовь для тебя -- особый отблеск в

ее глазах: ты ловил его порой и надеешься поддерживать так же легко, как огонь в лампе. И правда, порой простые слова полны могущества, и так нетрудно, кажется, питать огонек любви...

Вот только жизнь -- это совсем другое.

## VII

Женевьева легонько трогает занавеску, потом кресло -- робко, будто нащупывая стены своей тюрьмы. Прежде такие касания были просто игрой. Прежде

все это легко появлялось в ее жизни и так же легко исчезало, как декорации в театре, -- ведь она приходила и уходила. Ее вкус был надежен и безупречен -- но что ей было за дело до этого персидского ковра или той ткани с вычурным

рисунком из Жуи? Прежде они всего лишь создавали общий образ дома -- вполне

милый образ; теперь она встретилась с каждой вещью лицом к лицу.

"Ничего, -- думала Женевьева. -- Эта жизнь еще не стала моей, я здесь чужая". Она поглубже усаживалась в кресло, закрывала глаза. Словно в скором

поезде. Каждый прожитый миг уносит назад дома, леса, деревни. А откроешь

глаза -- над твоей полкой все то же медное кольцо. Но ты -- незаметно для себя -- меняешься. "Через неделю я открою глаза -- и это будет новая Женевьева: он меня увезет".

-- Как вам наше прибежище, Женевьева?

Зачем он разбудил ее так скоро? Она осматривается. Как ей передать свое ощущение: всему вокруг недостает надежности. Сама основа непрочна...

-- Подойди, Жак, ты-то ведь настоящий...

Полумрак, холостяцкое жилье: пара кушеток, стены затянуты коврами по-мароккански -- пять минут, чтобы развесить, пять минут -- убрать.

-- Жак, почему вы прячете стены, почему не даете их коснуться?

Она так любит ласкать ладонью камень, все, что есть в доме надежного, долговечного. Все, что может долго-долго тебя нести, словно корабль.

Он показывает свои богатства -- "привез на память". Она понимает. Она знавала офицеров колониальных войск, возвращавшихся в Париж призраками из

другого мира. Снова, спустя годы, оказавшись на бульварах, они изумлялись, что до сих пор живы. У себя дома они воссоздавали, кто лучше, кто хуже, свою обитель в Сайгоне или Марракеше. И говорили о товарищах, о женщинах, о продвижении по службе, -- но вот эта ткань, которая там казалась самой плотью стен, здесь была мертва.

Она трогает пальцем бронзовую мелочь.

-- Вам не нравятся мои безделушки?

-- Простите меня, Жак... Они немного...

Она не решается сказать "пошлые". Но что же делать, если эти поделки вызывают в ней молчаливое презрение? Ее уверенность в своем вкусе -- от навыка ценить только настоящего Сезанна, и никаких копий, лишь подлинную

старинную мебель, и никаких имитаций... Щедрая сердцем, она приготовилась

жертвовать чем угодно; ей казалось, она смирилась бы с беленой известью

клетушкой, -- но здесь ее что-то корбило, задевая не утонченность богатого ребенка, а, странным образом, саму ее внутреннюю честность. Он угадал ее

замешательство, но не понял.

-- Женевьева, я не могу предложить вам столько уюта...

-- Жак! Бог с вами, что вы себе вообразили? Мне совершенно все равно!

-- Она теснее прижалась к нему. -- Просто всем вашим коврам я предпочитаю

обычный, хорошо натертый паркет. Я тут все устраю...

И она запнулась: ведь нагая простота, о которой она мечтала, -- куда большая роскошь и куда большего требует от вещей: не то что эти маски на их

лицах. Та зала, где она играла ребенком, сияющие ореховые паркетные, массивные

столы, веками не ветшающие и не выходящие из моды...

Ее охватила странная печаль. Не жаль утраченного богатства и всего, что оно позволяет, -- конечно, она не больше Жака привыкла к излишествам. Но она

отчетливо поняла, что в новой жизни будет богата именно лишним. Это ей ни к

чему. А вот уверенности, надежности уже не будет. "Вещи, -- подумала она, -

всегда были долговечней меня. Они встречали меня при рождении, шли со мной

по жизни, и я была уверена, что они встанут надо мной в смертный час. А теперешние мне предстоит пережить".

Она опять вспоминает: "Там, в родных местах..." И снова перед ней тот самый дом за раскидистыми липами. Не было ничего прочней на видимой кромке мироздания, чем уходящие в землю каменные ступени перед его порогом.

О, там... И она представляет, как там зимой. Как зима прибирает в лесу каждую сухую ветку, обнажает каждую линию дома -- видишь самый костяк мира.

Мимоходом Женевьева свистит своим собакам. Каждый шаг отзывается хрустом мертвой листвы, но Женевьева знает: после зимней генеральной уборки весна снова будет ткать свое кружево, взберется по ветвям, вспыхнет почками, заново возведет зеленые своды, глубокие и вечно волнуемые, как морская вода.

Там ее мальчик не исчез бесследно. Она спускается в подвал перевернуть созревающую айву -- он только что выскользнул оттуда. Но ведь он уже набегался, мой малыш, столько нашалил, -- пора быть умницей, и теперь он спит, так ведь?

Там она узнает приметы смерти и не боится их. Каждый присоединяет свое молчание к молчаниям, обитающим в доме. Подними глаза от книги, затаи дыханье -- и услышишь едва отзвучавший зов.

Разве кто-то исчез? Все без конца меняются, и только ушедшие неизменны и надежны: лицо, виденное в последний раз, уже никогда не солжет.

"А теперь я пойду за этим человеком -- и буду страдать и сомневаться в нем". -- Только с теми, чей путь окончен, ей удастся распутать клубок нежности и обид.

Она открывает глаза: Бернис задумался.

-- Жак, защити меня, я уйду нищей, такой нищей!

Она выдержит, выживет и в каком-нибудь домишке в Дакаре, и в толпе где-нибудь в Буэнос-Айресе, в мире пустых и неверных зрелищ, -- только бы

Бернис был действительно самым сильным, как в книжках ее детства.

Он склоняется к ней, он говорит с ней так нежно. Этот его образ, эта чудесная нежность -- Женевьева заставляет себя верить, любить сам образ любви: этот слабый образ -- единственная ее защита.

Сегодня ночью, среди любовных ласк, она уткнется ему в плечо -- в это хрупкое, уязвимое прибежище, -- пряча лицо, словно умирающий зверек.

## VIII

-- Куда мы едем? Зачем вы меня сюда завезли?

-- Вам не нравится эта гостиница, Женевьева? Хотите -- уедем.

-- Да-да, уедем, -- говорит она с ужасом.

Света фар не хватало. Они с усилием прокладывали путь, словно просверливая его в ночи. Бернис бросал взгляд за взглядом на побледневшую Женевьеву.

-- Вы замерзли?

-- Ничего, немножко. Я забыла мои меха.

Все-таки она была легкомысленной девчонкой -- даже улыбнулась.

Зарядил дождь. "Вот зараза!" -- выругался про себя Бернис -- и тут же подумал: таковы подступы к земному раю.

Под Сансом пришлось менять свечу. А он забыл ручной фонарь: еще одна промашка. Он наощупь, под проливным дождем орудовал ключом, ключ не держал.

"Какого черта мы не поехали поездом?" -- упрямо твердил он себе. Он сам выбрал машину: казалось, она дает свободу, -- ничего себе свобода! И вдобавок с самого начала их бегства он делал глупость за глупостью, а сколько всего он забыл взять!

-- Ну что, получилось?

Женевьева вышла к нему из машины. Она вдруг почувствовала себя пленницей: строй деревьев -- конвоиры, и среди них дурацкая будка дорожного мастера. Боже, какая нелепость у нее в голове: уж не собирается ли она остаться здесь навсегда?

Все было готово, он взял ее за руку:

-- Да у вас жар!

Она улыбнулась...

-- Так... устала немного... Хорошо бы заснуть.

-- Не надо, не надо было выходить под дождь!

Мотор стучал и тянул с перебоями.

-- Подъезжаем, Жак? -- Ее клонило и клонило в сон, и обволакивала лихорадка. -- Милый, подъезжаем?

-- Да, любовь моя, да, вот уже Санс.

Она вздохнула. Эта попытка ей не по силам. И все из-за этого задыхающегося мотора. Каждое дерево такое тяжелое -- и его нужно подтащить,

подтянуть к себе. Потом следующее. Одно за другим. Снова и снова.

"Это невыносимо, -- думал Бернис. -- Надо еще раз остановиться". Он с

ужасом представил себе новую вынужденную остановку. Он страшился этой

неподвижности вокруг: она высвобождала в нем таящиеся в зародыше мысли. Он

страшился неизвестной силы, что рвалась наружу.

-- Женевьева, маленькая моя, забудьте об этой ночи! Подумайте, что нам предстоит... подумайте об Испании! Ведь вам понравится Испания, правда?

И в ответ -- слабый голосок словно издалека:

-- Да, Жак, я счастлива... только боюсь разбойников. -- И она грустно улыбнулась.

Бернису больно от этих слов, он ведь видит, что они значат: это путешествие в Испанию -- просто волшебная сказка... И никакой веры.

Армия

без веры. Армия без веры не может победить. "Женевьева, просто ночь и дождь

разрушают доверие между нами!" И он вдруг понимает, что эта ночь -- как страшная нескончаемая болезнь. Это привкус болезни у него на губах. В такие

ночи нет надежды на рассвет. Он сопротивляется, он вдабливает самому себе:

"С рассветом придет исцеление, лишь бы больше не было дождя... Лишь бы не

было дождя..." В них самих засела какая-то болезнь, но этого он пока не понял. Он был уверен: заражена земля, а не они, больна ночь, а не они. Он жаждал рассвета, как те обреченные, что твердят: "Взойдет день -- и станет легче дышать", "Придет весна -- и я помолодею"...

-- Женевьева, подумайте о новом доме, который ждет нас там...

Он тут же понял: ни за что нельзя было так говорить. Ничто не могло возвести образ этого дома в душе Женевьевы.

-- Да, наш дом...

Она пробовала слово на вкус. Но вкус его ускользал, и тепло его не грело.

В ней всколыхнулось множество мыслей, в которых она не решалась себе

признаться, и они пугали ее, грозя вот-вот облечься в слова.

Он не знал гостиниц в Сансе и остановился под уличным фонарем, чтобы

заглянуть в путеводитель. Фонарь едва не гас, в тусклом свете газа шатались тени, на блеклой стене проступала размытая, полустертая вывеска "Велоси...".

Казалось, никогда прежде он не встречал такого тоскливого, такого пошлого

слова. Символа житейской заурядности. Ему вдруг стало ясно, что и в его жизни многое было пошлым и заурядным -- а он и не замечал.

-- Огоньку дать, хозяин? -- Трое тощих парней, посмеиваясь,

разглядывали его. -- Американцы, видать, -- заблудились...

Потом они устали на Женевьеву.

-- Идите к черту, -- проворчал Бернис.

-- Слушай, а цыпочка у тебя хоть куда! Но наша, из двадцать девятого!..

Женевьева растерянно обернулась к нему:

-- Что они такое говорят? Уедем, пожалуйста, уедем!

-- Но, Женевьева...

Он сдержался и замолчал. Его дело -- искать гостиницу. Ну, пьяные мальчишки -- что за важность? И тотчас он спохватился, что ведь у нее жар, она мучается, и он должен был ее оградить... Он клял себя с болезненным упорством: как он допустил, что она столкнулась с этой грязью! Он, он...

Гостиница "Глобус" была заперта. Ночью эти маленькие отели не отличить

от мелочных лавок. Он долго стучал в дверь, наконец раздались неспешные

шаги. Ночной сторож приоткрыл дверь:

-- Мест нет!

-- Умоляю вас, моя жена больна! -- упрашивал Бернис.

Дверь захлопнулась. Шаги затихли в коридоре.

Неужели все против них?

-- Что он ответил? -- спрашивала Женевьева. -- Почему, почему он даже не ответил?

У Берниса едва не вырвалось, что они не на Вандомской площади: здесь все ложатся спать, едва постояльцев набивается под завязку. А как же иначе? Он молча уселся в машину. Его лицо блестело от пота, с крыши капало ему за

воротник. Не в силах отвести взгляд от мокрой мостовой, он не трогался с места, -- ему казалось, чтобы двинуться, он должен преодолеть вращение земли. И опять эта нелепая мысль: "Вот взойдет день..."

Так необходимо было сейчас доброе слово! И Женевьева попыталась:

-- Ничего, милый. Должны же мы заработать свое счастье.

Бернис взглянул на нее.

-- Спасибо, Женевьева. Вы очень великодушны.

Он был тронут. Он хотел было обнять ее -- но этот дождь, этот неуют, эта усталость... Он просто взял ее за руку -- и ощутил, что жар нарастает. Каждый миг подтачивал ее плоть. Он успокаивал себя, воображая: "Я закажу ей

грогу. Все обойдется. Обжигающего грогу. Закутаю ее одеялами. Мы будем

смотреть друг на друга и смеяться над тяготами дороги". Он проникался безотчетным счастьем. Но как далеко от этих образов то, что с ними сейчас! Еще две гостиницы вообще не отзывались. Мечты, мечты. Их надо было каждый

раз восстанавливать заново. И с каждым разом они чуть-чуть теряли в очевидности, в возможности стать явью.

Женевьева молчала. Он чувствовал, что больше не услышит ни единой жалобы, ни единого слова. Он может ехать часы, дни напролет -- ни единого слова. Никогда. Он может выкручивать ей руки -- ни слова... "Что за вздор, что за бред!"

-- Женевьева, девочка моя, вам плохо?

-- Нет-нет, все прошло, мне уже лучше.

Она уже во многом разуверилась, от многого отреклась. Ради чего? Ради него. Она отказалась от всего, что он не мог ей дать. И теперь это "мне лучше..." -- значит, в ней сломалась какая-то пружина. Она покорились. Теперь ей будет все лучше и лучше: она больше не ждет счастья. И когда ей

станет совсем хорошо... "Ох, какой же я болван, я опять брежу!"

"Гостиница Надежды и Англии". Коммивояжерам скидки.

-- Обопритесь на мою руку, Женевьева... Да-да, комнату. Жена нездорова, скорее грогу ей. Грогу, и погорячее!

Коммивояжерам скидки. Откуда в этих словах столько тоски?

-- Сядьте в кресло, вам будет легче.

Почему все не несут грог? Коммивояжерам скидки.

-- Пожалуйста, моя бедная госпожа! Ах, бедняжка! -- заискивала старая горничная. -- Такая бледненькая, вся дрожит! А я вам грелку налью. Пойдете в

четырнадцатый, прекрасная комната, большая. Не угодно ли господину заполнить бланки?

Взяв захватанную ручку, он сообразил, что у них разные фамилии. Женевьева -- и снисходительность прислуги! "И все из-за меня. Какая пошлость!" И опять она пришла на помощь:

-- Любовники! Правда, мило?

Им представился Париж, огласка, возбужденные лица знакомых. И это они

только начали сталкиваться с трудностями! Но заговорить об этом они не смели, боясь, что думают об одном. И Бернис понял, что на самом деле ничего

еще не случилось, совсем ничего: ну, мотор не тянул, ну, дождик их вымочил,

ну, лишних десять минут в поисках гостиницы. Главные трудности, которые они

должны преодолеть, -- в них самих. Это с собой боролась Женевьева -- но то, что она силилась вырвать с корнем, вросло в нее слишком крепко и теперь разрывало ее изнутри.

Он взял ее руки в свои, уже понимая, что никакие слова не помогут.

Она спала. Он и не думал о любви. Зато приходили причудливые образы,

ассоциации. Вот горит лампа. Он должен скорее дать пищу огню. Но надо и защитить пламя от поднятого им ветра.

Но страшнее всего -- безразличие. Лучше бы в ней проснулась жадность к земным благам и радостям. Лучше бы она волновалась из-за вещей, страдала, плакала из-за них, как голодный ребенок. Тогда, при всей своей нищете, он многое мог бы ей дать. Но он стоял на коленях, неимущий, перед ребенком, который ничего не хочет.

## IX

-- Нет. Не надо... Не трогай меня... Ах, уже пора?

Бернис поднимается. Полусонный, он тяжело движется -- словно грузчик на канате тянет на борт что-то огромное, словно апостол вытаскивает человека на свет Божий из недр его души. Каждый шаг полон смысла, как в танце.

-- Любовь моя...

Ну что он все ходит туда-сюда, так нелепо...

В окне рассветная муть. А ночью оно было темно-синим. При зажженной лампе оно мерцало глубоким огнем, будто сапфир. Этой ночью оно распахивалось прямо к звездам. Навевало грезы. Будило воображение. Словно стоишь на носу корабля.

Она подтягивает колени, тело кажется вязким, как непропеченный хлеб. Сердце колотится и щемит. Точно в поезде. Колеса выстукивают ритм бегства. Стучат, как сердце. Прислонишься лбом к стеклу -- и мимо летят все какие-то черные тени, обретая приют на горизонте, где ждет покой, сладостный, как смерть.

Ей хотелось бы крикнуть: "Обними меня!" Удержи, только в руках любви мы едины с нашим прошлым, настоящим и будущим, лишь они сберегут нашу целостность...

-- Не надо. Не трогай меня.

Она встает.

## Х

"Все решилось, -- думал Бернис, -- все решилось помимо нас. Даже слов не понадобилось". Как будто они заранее договорились вернуться. А она еще и заболела -- как же тут двигаться дальше? Ну, а там посмотрим. Их не было совсем недолго, Эрлен в отъезде -- все образуется. Бернису странно: неужели все случившееся было так легко? Нет, неправда, и он прекрасно понимал, что неправда. Это они теперь двигались легко, без всяких усилий.

А вот в самом себе он не был уверен. Он понимал, что снова поддался нахлынувшему на него образу. Но откуда они, из каких глубин рождаются? Вот и сегодня, проснувшись в тусклом свете утра, глядя в низкий потолок, он подумал вдруг: "Ее дом был кораблем. Он переправил с одного берега на другой много поколений. Смысла не найдешь ни здесь ни там, но какую ощущаешь надежность, когда у тебя есть билет, каюта и желтые кожаные чемоданы. Когда всходишь на борт..."

Он еще не знал, страдает ли он, -- он катился под уклон, будущее неслось навстречу, и он даже не пытался с ним совладать. Предавая себя в чужие руки -- не страдаешь. Даже предавая себя в руки тоски. Ему еще будет больно -- после, наедине с проходящими к нему образами. Он понял: им потому так легко доигрывать каждому свою роль, что где-то в них эти роли уже записаны. Он твердил себе это всю дорогу, мотор по-прежнему барахлил. Ничего, доедут. Под уклон (уклон -- снова этот образ)...

Перед самым Фонтенбло ей захотелось пить. Все вокруг было до мелочей узнаваемо, располагалось так спокойно, вселяло уверенность. Привычные, необходимые рамки жизни.

В придорожной забегаловке им принесли молока. Куда торопиться? Она пила маленькими глотками. Торопиться некуда. Все шло само, со всей необходимостью, -- снова этот образ необходимости.

Она с ним нежна. Она ему за многое признательна. Теперь им легче друг с

другом, чем вчера. Она с улыбкой показывает на птичку, что-то клюющую у

порога. У нее какое-то новое лицо -- где он видел такое лицо?

На пристани. На пристани, у отправляющихся в путь: несколько мгновений

-- и жизнь оторвет их от вас, унесет из вашей жизни. Это лицо уже может улыбаться, уже одушевлено неизвестными вам страстями.

Он поднял глаза. Ее склоненный профиль; она задумалась. Он терял ее, стоило ей чуть отвернуться.

Да, конечно, она всегда любила его, но ведь нельзя слишком много требовать от слабой маленькой девочки. Он, разумеется, не мог сказать ей:

"Я

возвращаю вам свободу," -- или какую-нибудь еще нелепость в этом роде, но он

заговорил о своем будущем, о новых планах. Он придумывал себе новую жизнь, в

которой она уже не была пленницей. Она благодарно положила свою маленькую

руку ему на плечо:

-- Вы мой самый, самый любимый...

И это была правда, но он знал, что эти же слова означают: мы не созданы друг для друга.

Нежная и стойкая. И готовая, сама не понимая, стать черствой, жестокой, несправедливой. И защищать что-то смутное в себе -- любой ценой.

Уверенная и

нежная.

Она не была создана и для Эрлена. Бернис это знал. Жизнь, к которой она собиралась вернуться, не дала ей ни капли счастья. Для чего же она была создана? Казалось, ей и не больно...

Двинулись в путь. Бернис чуть отворачивался в сторону. Он тоже умел одолеть свою боль -- но где-то внутри прятался раненый зверек, чьи слезы не выразить словами.

В Париже никакой тревоги. Да ничего и не произошло.

## XI

Ничего! Город окружил его своей бесполезной толкотней. Бернис видел: ему не выбраться из этой суматохи. Он медленно двигался среди чужого мимохожего народа. Он думал: "Как будто меня здесь нет". Скоро ему уезжать

-- и отлично. Он знал: работа соединит его с миром такими весомыми узлами,

что и сам он снова станет настоящим. И еще он знал: силою повседневности малейший шаг становится событием и обретает значительность, а душевные терзания, наоборот, понемногу теряют вес и смысл. Даже шутки товарищей по линии зазвучат для него с прежним вкусом. Странно -- но ведь это так. Впрочем, он не слишком думал о себе.

Оказавшись у Собора Богоматери, Бернис вдруг вошел и, поразившись огромной толпой внутри, укрылся за колонной. "Почему это я здесь оказался?"

-- спросил он себя. В конечном счете, потому, что здесь каждая минута куда-то вела. А там, за стеной, они больше никуда не вели. Да, так: "Там минуты больше никуда не ведут". Он должен был разобраться в себе -- и предлагал себя вере, просто как образу мыслей. Он говорил себе: "Если я найду формулу, которая объяснит мне меня самого, соберет меня воедино, - это и будет для меня истиной". И заканчивал устало: "Но верить я в нее не буду".

Ему вдруг стало ясно, что он опять на распутье и вся его жизнь прошла вот в таких попытках к бегству. И начало проповеди привело его в смятение, словно то был сигнал к отплытию.

-- Царство Божие, -- произнес проповедник, -- Царство Божие...

Ухватившись за широкие края кафедры, он склонился над толпой. Толпа сгрудилась, готовая поглотить все. Надо дать ей пищу. Образы приходили к нему один за другим, небывалой очевидности. Он увидел рыбу, пойманную в сети, и, без всякой связи, продолжил:

-- Когда рыбак из Галилеи...

За каждым из разрозненных слов тянулись и повисали, длясь, вереницы ассоциаций. Ему казалось, он постепенно возлагает на эту толпу страшный гнет, от раза к разу все удлиняя усилие, как бегун удлиняет шаг.

-- Если бы вы знали... Если бы вы знали, сколько любви...

Он задохнулся и умолк, переполнен невыразимыми чувствами. В самых ничтожных, самых избитых словах проступил для него столь глубокий смысл, что он уже не мог выбирать между ними. В отблесках свечей его лицо казалось

восковым; упираясь руками в кафедру, запрокинув голову, он весь вытянулся  
ввысь. И в ответ на его молчание толпа взволновалась, как море.

И опять нахлынули слова -- он начал снова. Он говорил с поразительной уверенностью. Он ворочал слова, точно грузчик, ликующий от сознания своей силы. Он еще только заканчивал фразу -- и уже новая мысль, рождаясь где-то вне его, спешила на смену, словно ему перекидывали груз, -- а он уже смутно предугадывал, в какой образ ее воплотит, в какой формуле передаст ее толпе.

Бернис вслушивался в слова проповеди.

"Я есмь источник всякой жизни. Я морской прилив, что входит в вас и животворит вас и снова отступает. Я зло, что входит в вас и раздрает вас и снова отступает. Я любовь, что входит в вас и пребывает вовеки.

А вы выступаете против меня с Маркионом и Четвертым Евангелием.

Вы

приступаете ко мне с разговорами об интерполяциях. Вы заступаете мне путь

своей жалкой человеческой логикой, я же тот, кто выше всякой логики, и пришел разрешить вас от нее.

Внемлите же, пленные в узилище! Я разрешаю вас от вашей науки, от ваших

формул, от ваших законов, от рабства в цепях рассудка, от детерминизма суровейшего, чем сама судьба. Я -- брешь в доспехе, я -- оконце в темнице, я -- ошибка в расчете: я -- жизнь.

О кабинетное племя малoverов! Вы исчислили путь звезды -- но разве извели вы ее? И вот она стала значком в ваших книгах, и нет вам более от нее света: вы знаете о звезде меньше малого ребенка. Даже и до того дошли вы, что выводите законы любви человеческой, но любовь человеческая протекла

у вас между пальцев: вы знаете о любви меньше юной девственницы. Но говорю

вам: придите ко мне! Сладость света, огонь любви человеческой -- я возвращаю

вам. Не в рабство веду вас, но вывожу из рабства. Ибо вверх вас в рабство тот, кто первым исчислил падение яблока; со мною же пребудете свободны.

Нет

исхода, кроме как под мой кров, и куда пойдете вы, если не в это прибежище?

Куда пойдете вы, говорю, если не в это прибежище? В этот ковчег, что рассекает, наделяя истинным смыслом, волны времени, -- подобно тому как

корабль рассекает острым днищем волны морские? Волны же морские не шумят

понапрасну, но выносят на себе острова, -- таковы волны морские.

Придите ко мне, познавшие горечь напрасных трудов.

Придите ко мне, познавшие горечь бесплодных мыслей и мертвых законов".

Он раскинул руки:

"Ибо я тот, кто приемлет. Я взял на себя грехи мира. Я взял на себя его зло. Я взял на себя вашу скорбь -- скорбь дикого зверя, оплакивающего своих

детенышей, и ваши недуги неисцелимые, и вы утешались в сердце своем.

Ныне же

новое зло твое, о народ мой, беда сокрушительная и неудобноносимая, -- но и его возьму на себя. Цепи рассудка вашего, тягчайшие из всех, возьму на себя.

Ибо я тот, кто несет бремя мира".

Бернису слышится лишь глубокая безысходность: этот человек не молит о

знамени и не возвещает о знамени -- он отвечает сам себе.

"Вы будете беспечны, как дети.

Вы трудитесь вотще каждый день ваш, и изнемогаете, -- придите ко мне, вашим трудам я верну смысл, и воздвигнете их в сердце своем, и сделаю ваше

сердце человеческим".

Речь его овладевает толпой. Бернис уже не слышит слов -- только то, что в них скрыто, один и тот же настойчивый мотив.

"И сделаю ваше сердце человеческим!"

Проповедник вне себя.

"Ваша любовь черства, безжалостна и безнадежна, любовники дня сего, -- придите ко мне со своей плотской страстью, со своей тоской увядания, и сделаю вашу любовь человеческой".

Бернис слышит, как в его голосе нарастает отчаяние.

"Ибо я тот, кто возлюбил человека".

Бернис близок к бегству.

"Ибо я тот, кто может вернуть человека самому себе".

Проповедник умолк. В изнеможении он повернулся к алтарю. И поклонился

богу, которого только что сам сотворил. Он был опустошен, как будто отдал

все, что имел, как будто это изнурение плоти и было даром. Сам не понимая,

он представлял себя Христом. Стоя лицом к алтарю, он снова заговорил с ужасающей медлительностью:

"Отец мой, я поверил в них, вот почему я отдал свою жизнь".

И склонился над толпой в последний раз:

"Ибо я возлюбил их..."

Его охватила дрожь. Тишина показалась Бернису оглушительной.

"Во имя Отца..."

"Какое отчаяние! -- думал Бернис. -- Где же вера? Я не слышал никакой веры -- только крик отчаяния".

Он вышел. Скоро зажгутся фонари. Он шел вдоль набережных Сены.

Деревья

стояли недвижимые, разор ветвей схвачен смолой сумерек. Бернис шел.

День

завершался, суля передышку, и Берниса охватывал покой, как после решения

трудной задачи.

Вот только эти сумерки... Точно театральные задники: сколько раз в этих декорациях разыгрывался распад Империи, житейское поражение, конец любовного

приключения, -- а завтра будут сыграны другие комедии... Но как тревожит этот фон, когда вечер так тих, когда жизнь едва тянется, и неясно, что за драма на сцене. О, хоть бы что-нибудь спасло Берниса от этой, такой человеческой тревоги!

Все разом вспыхнули дуговые фонари.

## XII

Такси. Автобусы. Как ни назови эту суету -- в ней хорошо затеряться, ведь правда, Бернис? А вот какой-то увалень встал, как вкопанный -- "Давай, шевелись!"

Женщины, которых больше никогда не встретишь, -- другой возможности не

будет. Выше -- грубовато расцвеченный огнями Монмартр. Девочки уже

цепляются.

-- К черту! Отвали!

А вот другие женщины. В "испано-сюизах", как в роскошных футлярах, даже

безобразная плоть драгоценна. На животе жемчуга на пятьсот тысяч франков, а

какие перстни! Тела под соусом роскоши. Тут же еще одна озабоченная девка.

-- Отцепись ты! Не видал я бордельных зазывал, убирайся! Дай пройти, кому говорят!

По соседству ужинала женщина в вечернем платье, с глубоким треугольным вырезом на спине. Он видел только затылок, плечи и эту глухую спину, по которой временами пробегала дрожь: неуловимое, вечно новое вещество плоти.

Женщина курила, опершись на локоть и склонив голову, -- перед ним был лишь безликий объем, человеческая пустыня.

"Стена," -- думал он.

Танцовщицы начали свое действие. Они двигались так гибко и упруго, и душа танца наделяла душой каждую из них. Бернису нравился этот ритм, державший их тела в равновесии. Равновесии столь хрупком -- но танцовщицы с поразительной уверенностью находили его снова и снова. Раз за разом они создавали образ, вели, приводили к развязке -- и на пороге завершения, на пороге смерти переплавляли в новый, движущийся дальше: это дразнило, тревожило. Это было само желание.

А перед ним все та же таинственная, ровнее озерной глади спина. Неуловимое движение или мелькнувшая мысль -- и по этой глади волной пробегает тень, дрожь. "Вот это мне и нужно -- то смутное, что живет там, в глубине," -- думает Бернис.

Танцовщицы раскланивались: загадка начертана на песке и тут же стерта. Бернис поманил самую легконогую.

-- А ты хорошо танцуешь.

И он вдруг заметил, что она клонится под бременем плоти, как налитый соком плод: эта весомость показалась ему откровением. Богатством. Она присела рядом. У нее был настойчивый взгляд, подбритый затылок смотрелся чуть по-бычьему -- только и было неподвижного в этом гибком теле. Оно, это тело, так естественно продолжало собой не слишком тонкое лицо, так дышало покоем...

Потом Бернис заметил слипшиеся от пота волосы. Морщинку, прорезавшую слой грима. Несвежие кружева наряда. Вырванная из стихии танца, она выглядела усталой и неловкой.

-- О чем ты задумалась?

Она принужденно покачала головой.

Итак, вся ночная суэта обретала смысл. Таксисты, швейцары, официанты правили свое ремесло -- и вот перед ним бокал шампанского и утомленная

девица. Жизнь, вид из-за кулис: ничего, кроме ремесла. Ни порока, ни добродетели, ни смутных переживаний, -- только работа, привычная, никакая, та же, что у чернорабочего. И даже этот танец, движение за движением, творящий новый язык, говорил только с посторонними. Только чужак открывал в нем стройность и глубину основы, о которой его создатели давно забыли. Ведь музыкант, играющий в тысячный раз ту же мелодию, уже не чувствует ее. Так и эти танцовщицы, со своими умелыми па, искусной мимикой, в ярком свете софитов, -- Бог весть, что у них на уме. Одна озабочена болью в ноге, другая предстоящим -- ничего не значащим -- свиданием, эту гнетут долги: "Еще сто франков...", -- а та вечно об одном: "Мне плохо..."

Порыв иссяк, желания больше не было. Он думал: "Тебе нечего мне дать, у тебя нет того, что мне нужно". Но его одиночество было таким нестерпимым, что она все-таки понадобилась ему.

### ХШ

Она боится этого молчаливого мужчины. Ночью она просыпается, он спит рядом, -- а ей кажется, что ее бросили на пустынном берегу.

-- Обними меня!

Все равно ее охватывает нежность... Но слишком много в нем неведомого:

его сны за высоким лбом, его жизнь, притаившаяся в сильном теле... Лежа у него на груди, она чувствует, как эта грудь подымается и опадает, словно морская волна, -- и ей страшно, как если плыть над пучиной. Прижав ухо, она слышит резкий стук сердца -- не то работает мотор, не то кирка в щепу разносит старый дом, -- теперь на нее нахлынуло ощущение стремительного, неудержимого бегства. Она что-то говорит, хочет его разбудить, -- молчание. Она считает секунды до его ответа -- как от молнии до грома: раз... два... три... Гроза еще далеко, за полями. Он закрывает глаза -- она пытается поднять его тяжелую, точно у мертвеца, голову -- словно булыжник, обеими

руками.

-- Милый, что за тоска...

Таинственный спутник.

Безгласные, вытянувшись бок о бок, он и она. И жизнь, как река, стремится сквозь них свое головокружительное бегство. Тело -- пирога, брошенная на волю потока...

-- Который час?

Вот и приехали. Странное путешествие.

-- Милый!

Она прижимается к нему -- голова запрокинута, волосы спутаны, словно только что вынырнула. Такой, с прилипшими ко лбу прядями и помятым лицом,

выходит женщина из сна или любовной игры -- будто из пучины вод.

-- Который час?

Ах, к чему это? Часы пролетают, как захоластные полустанки, -- полночь, час, два, -- их навсегда отбрасывает назад. И что-то неудержимое ускользает сквозь пальцы. Стареть -- это совсем не трудно.

-- Представляю -- ты уже седой, а я -- твоя смиренная подруга...

Стареть совсем не трудно.

Но как трудна вот эта минута -- червоточина в ней снова чуточку отдаляет приход последнего покоя.

-- Расскажи мне об этих твоих краях.

-- Знаешь, там...

Бернис понимает, что ничего не выйдет. Города, моря, родные страны -- всюду одно и то же. Лишь мимолетный образ порой -- угадываешь, не постигая; но его и не передать.

Он проводит ладонью по животу этой женщины: здесь плоть так беззащитна.

Женщина, самое обнаженное из всех живых существ, и светится самым нежным светом. Он думает об этой жизни, о таинственной силе, которая животворит это тело, согревает его, не хуже солнца, внутренним теплом. Бернис не сказал бы, что она нежна или красива: она -- теплая. Теплая, как зверек. Живая. И в ее теле неустанно бьется сердце -- источник жизни, такой непохожей на его жизнь.

Он вспоминает, как несколько мгновений в нем била крыльями страсть -- безумная птица, била, а потом умирала. А теперь...

Теперь в окне трепещет светающее небо. О женщина после отхлынувшей любви, оставшаяся без своего венца, без своего оружия -- без желания мужчины. Отброшенная назад, к холодным звездам. Так быстро все меняется в

странствии сердца. Осталось позади желание, и нежность, пронеслась  
огненная  
лавиная. И вот -- чистый, холодный, свободный от власти тела, -- ты стоишь  
на  
носу корабля: курс в открытое море.

#### XIV

Аккуратный, неуютный зал -- точно пристань. Бернис в Париже, пустые  
часы в ожидании скорого. Прижавшись лбом к стеклу, он смотрит на  
текущую  
мимо толпу. Он в стороне от этого потока. У каждого свои планы, все  
спешат.  
Там что-то завязывается -- все развяжется без него. Проходит женщина:  
десять  
шагов, не больше, -- и вышла из твоей жизни. Эта толпа была живой  
плотью,  
она питала тебя слезами и смехом, а теперь -- будто движутся вымершие  
племена.

#### Часть третья

#### I

Европа, а за ней и Африка готовились ко сну, прибирая там и тут  
последние бури дня. Та, что над Гранадой, затихала; та, что над Малагой, --  
пролилась дождем. Кое-где по углам несколько вихрей еще цеплялись в  
кронах,  
как в волосах.

Тулуза, Барселона, Аликанте, отправив почту, наводили у себя порядок,  
загоняли самолеты по ангарам. Малага ждала его засветло и могла не  
готовить  
огней. Впрочем, здесь ему не приземляться: снизиться -- и дальше к  
Танжеру.  
К ночи он перелетит пролив -- на двадцати метрах, не видя африканского

берега, по компасу. Здесь западный ветер мощно врезался в волну, разнося ее в белую пену. Корабли, стоявшие на якоре, носом к ветру, дрожали всеми заклепками, как в открытом море. Восточнее, за гибралтарской скалой, ветра не было, зато дождь лил как из ведра. К западу дождь утихал, тучи уходили выше. На том берегу дымился под струями воды промокший до нитки Танжер. У горизонта громоздились кучевые облака, но в сторону Лараша виднелось чистое небо.

Касабланка переводила дыхание после ливня. Порт пестрил потрепанными, как после боя, парусниками. А по морю, изрытому бурей, уже расходились веером ровные, длинные борозды. Зелень полей казалась ярче, насыщенной, как морская глубь под лучами заката. Город поблескивал влажными площадями.

Электрики аэродрома в ожидании бездельничали у генераторов. Их агадирские собратья спокойно обедали по домам: у них было еще четыре часа. В Порт-Этьене, Сен-Луи, Дакаре было время дневного сна.

В восемь вечера Малага сообщила по радио:

Почтовый прошел. Почта сброшена.

Касабланка начала проверять огни. Лампы, окаймляющие посадочную площадку, вырезали и обвели красным черной прямоугольный кусок ночи. Кое-где ламп не хватало -- словно выпали зубы. Вторым рубильником включили прожектора. Среди поля возникло пятно пролитого молока. В этом мюзик-холле недоставало только актера.

Отражатель передвинули. Сноп лучей зацепил мокрое дерево, бликующее, как хрусталь. Потом сцену вдруг захватил беленый барак, тени побежали по кругу и пропали. Наконец световой ореол опустился и занял свое место, расстелив для самолета белый коврик.

-- Хорошо, -- сказал начальник аэродрома, -- выключайте.

Он поднялся в контору, просмотрел последние сводки, выжидательно поглядывая на телефон. Скоро вызовет Рабат. Все было готово.

Механики

пристроились ждать, кто на баках, кто на ящиках.

Агадир ничего не понимал: по его расчетам, почтовый уже вылетел из Касабланки. Его ждали с минуты на минуту. За бортовой огонь самолета то и дело принимали то Звезду Волхвов, то как раз всходящую на севере Полярную.

Чтобы включить прожекторы, нужно было дождаться еще одной -- той, что будет блуждать, не находя себе места среди созвездий.

Начальник аэродрома колебался. Отправлять ли самолет дальше? На юге

опускался туман -- может быть, до самого ручья Нун, а то и до Джуби, и Джуби

не отвечал на запросы. Ночь словно из ваты -- как отпустишь в нее почтовый

Франция--Америка? А этот пост в Сахаре не хотел делиться своей тайной.

А мы в Джуби, отрезанные от мира, посылали сигналы бедствия, словно тонущий корабль:

Сообщите сведения почтовом, сообщите...

Мы уже не отвечали Сиснеросу, донимавшему нас тем же вопросом. Так, за

тысячу километров друг от друга, мы бросали в ночь безответные жалобы.

В двадцать пятьдесят все разрешилось. Касабланке и Агадиру удалось связаться по телефону. Да и радисты наши, наконец, поймали волну.

Касабланка

говорила, и каждое слово распространялось до самого Дакара:

Почтовый вылетит Агадир 22.00.

Агадир Джуби: Почтовый прибывает Агадир 00.30. Сможем отправить к вам?

Джуби Агадиру: Туман. Ждите рассвета.

Джуби Сиснеросу, Порт-Этьену, Дакару: Почтовый ночует Агадире.

В Касабланке пилот, щурясь на лампу, подписывал маршрутный лист. Только

что, в полете, глазу почти не доставалось добычи. Счастьем было зацепиться

взглядом за белую полосу волн, разбивающихся о границу земли и воды, -

хоть какой-то ориентир. А сейчас, в конторе, все шло в пищу взгляду: ящики,

листы бумаги, грубая мебель... Вот прочный, надежный мир, щедро предлагающий

свое вещество. И совсем другой, опустошенный ночью, -- там, за дверным проемом.

Бернис раскраснелся: ветер десять часов хлестал его по щекам. С волос

капало. Он выбрался, упрямо жмурясь, из ночного мрака, как водопроводчик из

подземного царства сточных вод, -- в тяжелых сапогах, в кожаной куртке, с прилипшими ко лбу прядями. Он отложил ручку:

-- Вы что же, хотите отправить меня дальше?

Начальник аэродрома хмуро листал бумаги.

-- Будете делать, что прикажут.

Он уже решил отменить вылет -- а пилот решил на нем настаивать.

Каждый

хотел доказать, что судить только ему.

-- Да ведь это все равно что засадить меня в гардероб с рукояткой газа, да еще глаза завязать, -- и вперед, доставь мебель в Агадир!

Слишком он был полон внутренней жизни для мыслей, хоть мимолетных, о

несчастном случае, -- это для праздных душ; но уж больно его восхитил этот

образ летающего шкафа. Мало ли на свете невозможного -- а он все равно справится!

Начальник аэродрома приоткрыл дверь, чтобы выбросить в ночь окурок.

-- Вон -- все видно.

-- Что видно?

-- Звезды.

Пилот разозлился:

-- Тоже мне звезды, трех штук не будет! И не на Марс же мне лететь -- в Агадир.

-- Через час будет луна.

-- Луна, луна...

Эта луна его еще больше задела: когда это он дожидался луны для ночного

полета? Что он, курсант-недоучка?

-- Ладно. Решено, бог с вами, -- оставайтесь.

Пилот успокоился, вытащил припасенные с вечера бутерброды, стал мирно

жевать. Он вылетит через двадцать минут. Начальник аэродрома улыбался,

похлопывая по телефонному аппарату: скоро командовать взлет.

Все было готово -- и в жизни наступил какой-то провал. Как будто время остановилось. Летчик застыл, чуть подавшись вперед, на стуле, черные от смазки руки зажаты между колен. Глаза устремлены в одну точку -- на полдороге к стене. Начальник аэродрома наискось от него, с приоткрытым ртом,

словно в ожидании тайного знака. Машинистка зевнула, подперла голову

кулаком, сон постепенно вырастал в ней. Только сыпался и сыпался песок в

часах. А потом вдруг раздался какой-то дальний зов -- и будто снова запустили машину. Начальник аэродрома поднял палец: пора. Пилот усмехнулся, выпрямился, вздохнул полной грудью.

-- Ну, счастливо!

Так порой в кино обрывается пленка. И все замирает, с каждым мигмом неподвижность все тяжелее, словно обморок, -- а затем жизнь начинается снова.

Сперва Бернису показалось, что он не взлетает, а лезет в холодную сырую пещеру, где грохот мотора отдается, как рокот прибоя. Потом -- что он просто потерял опору. Днем из синего неба, линии залива, округлых спин холмов строится прочный мир, на который можно положиться, -- а сейчас его выбросило из этого мира в мир первых дней творения, где стихии еще буйствуют все вперемешку. Внизу равнина уносила последние города -- Мазаган, Сафи, Могадор, переливавшиеся, как витражи. Потом мелькнули последние фермы -- последние бортовые огни земли. Внезапно он ослеп.

-- Вот как! Ну и влип же я.

Пристально следя за авиагоризонтом и высотомером, он стал снижаться, чтобы выйти под облака. Слабый красный свет бортовой лампочки сбивал с толку, он ее выключил.

-- Что такое, я же выбрался -- а все равно ничего не видно!

Первые вершины Атласских гор он уже должен был миновать, их уносило течением, словно айсберги, незримые и безмолвные, он чувствовал их за спиной.

-- Да, плохо дело.

Он обернулся. Механик, его единственный пассажир, с карманным фонариком на коленях читал книгу -- из кабины только и видна склоненная голова, а над ней опрокинутая тень. Странная голова, как изнутри светится, точно фонарь.

Бернис крикнул: "Эй!" -- но голос его потерялся. Бернис стукнул кулаком по обшивке -- механик все читал, как ни в чем не бывало, плавая в своем странном свете. Вдруг его лицо на мгновение исчезло: он перевернул страницу.

"Эй!" -- крикнул Бернис еще раз: на расстоянии протянутых друг к другу рук

человек был недосягаем. Понимая, что все равно не дозваться, Бернис отвернулся.

"Скоро должен быть мыс Гир, но чтоб меня повесили, если... Нет, дело дрянь. А может, -- подумал Бернис, -- я просто ушел в море?"

Он выверил курс по компасу. Вот странное ощущение: так и заносит в океан, в сторону, точно пугливую кобылу, -- будто эти горы слева на него наседадут.

-- Дождь, что ли, пошел?

Он высунул руку, она вся покрылась каплями.

"К берегу выйду минут через двадцать, там уже равнина, меньше риска..."

И вдруг -- прояснилось, вот это да! Тучи дочиста выметены с неба, промытые звезды блестят, как новенькие. И -- луна! Луна, лучшая из ламп! Трижды вспыхнули, точно световая реклама, посадочные огни Агадира.

-- Нужны мне ваши огни, когда у меня есть луна!

## II

В Кап-Джуби день поднимал занавес, и сцена показалась мне пустой. Ни малейшей тени, никакого второго плана. Дюна, конечно, на своем месте, пустыня, испанский форт. Нет лишь того легкого движения, которое и в тихую погоду придает богатство лугам или морской глади. Даже медлительные караваны кочевников видят весь день, как пересыпается песок, и каждый вечер разбивают шатры среди нового девственного убранства пустыни. И я бы ощутил ее бескрайность, если б хоть что-то сдвинулось вокруг, -- но в этих застывших декорациях душа в таком же плену, как на олеографии.

Этот колодец перекликался с другим, за триста километров отсюда. Вроде бы тот же колодец, тот же песок, так же легли земные складки. Но это видимость: там -- уже другая, новая ткань бытия. Так обновляется, что ни миг, вечно одна и та же пена прибоя. И у второго колодца я почувствовал бы свое одиночество, а у следующего -- что и в самом деле есть над непокоренной страной покров тайны.

День тянулся нежилой, не обставленный событиями. Просто движение солнца -- чистая астрономия. Просто на несколько часов земля подставляет бока солнцу. Здесь человеческая природа больше не питала слова уверенностью, и они в конце концов теряли смысл. Ничего в них больше не было, кроме песка. И даже самые весомые -- "любовь", "нежность" -- не отягощали сердце бременем полноты.

Если ты вылетел из Агадира в пять, ты уже должен приземлиться.

-- Если он вылетел из Агадира в пять, он уже должен приземлиться.

-- Ну да, старина, да... все потому, что ветер юго-восточный.

Небо желтое от песка. Этот ветер за несколько часов перевернет вверх дном всю пустыню -- а ведь северный месяцами ее обустроивал. Сегодня тут полный разор: дюны косо вздувает, песок взметается длинными прядями, и каждая раскручивается, словно катушка, чтобы чуть подальше снова свернуться.

Вслушиваемся. Нет. Это шумит море.

Ведь почтовый в пути -- ничто, пушинка. Между Агадиром и Кап-Джуби, над неразведанной непокоренной страной -- где он, наш товарищ? Когда же, наконец, появится у нас в небе ясный, недвусмысленный знак?

"Если он вылетел из Агадира в пять..."

Начинаешь предчувствовать беду. Ведь авария почтового -- это всего лишь дрящееся ожидание, и разговор то вспыхнет, то замрет. Время все растягивается и растягивается, его уже никак не заполнить незначительными движениями, обрывочными словами...

И внезапно кто-нибудь ударяет кулаком по столу:

-- Черт возьми, уже десять! -- И все вскакивают: товарищ попал к маврам.

Радист говорит с Лас-Пальмас. Дизель громко пыхтит. Генератор гудит, как турбина. Радист не сводит глаз с амперметра, отмечающего каждый удар ключа.

Я стою и жду. Радист наискось протягивает мне левую руку, продолжая работать правой. Потом кричит мне:

-- Что?

Я вообще-то ничего не говорил. Через полминуты он снова кричит, не разобрать, я отвечаю:

-- А, да?

Вокруг все блистает: сквозь приоткрытые ставни полосой ложатся солнечные лучи, шатуны дизеля, отсверкивая влажными молниями, взбивают их как масло.

Наконец радист всем телом поворачивается ко мне, снимает шлем. Мотор чихает и останавливается. Я слышу последние слова -- среди внезапной тишины

радист выкрикивает их, словно до меня метров сто:

-- ... плевать хотели!

-- Кто?

-- Да эти.

-- Ясно. А связаться с Агадиром?

-- Не время, вряд ли там кто на связи.

-- Попробуйте, что делать.

Я царапаю в блокноте:

Почтовый не прибыл. Точка. Состоялся ли вылет. Точка. Подтвердите время.

-- Отправьте им.

-- Вызываю.

Грохот с новой силой.

-- Ну и?

-- ... дать.

Это я отвлекся, задумался. Он, верно, сказал, что надо подождать. А кто ведет почтовый? Уж не ты ли, Жак Бернис, затерялся нынче во времени и пространстве?

Радист выключает силовую группу, переключается на прием, снова надевает

шлем. Постукивает карандашом по столу, зевая, смотрит на часы.

-- Похоже, авария?

-- Хотел бы я знать!

-- Ну да. Ага!.. Нет, пусто. Не услышал нас Агадир.

-- Еще раз?

-- Еще раз.

И он снова запускает мотор.

Агадир по-прежнему молчит. А мы ждем, пока он прорежется. Стоит ему

выйти с кем-нибудь на связь -- и мы тут же вклинимся.

Сажусь. От нечего делать беру наушники -- и попадаю в вольеру, полную птичьего гвалта.

То длинные, то короткие трели так и частят -- я плохо разбираю этот язык, но сколько же оказалось голосов в этом небе, которое я считал безмолвной пустыней!

Говорят три станции. Смолкнет одна -- тут же подхватывает другая.

-- А вот и Бордо, радиомаяк.

Высокая скороговорка вдалеке. Другой голос, ниже, неспешней.

-- А это?

-- Дакар.

Вот явно расстроенный голос. Смолкает, вступает снова, опять смолкает -- снова...

-- Барселона вызывает Лондон, а Лондон не отвечается.

И уж совсем вдали под сурдинку что-то рассказывает Сент-Ассиз.

Вот так свидание у них тут в Сахаре! Собралась вся Европа, и столицы любезничают птичьими голосами.

Вдруг по всему эфиру раскатывается близкий шум, мгновенно заглушающий остальные голоса.

-- Агадир?

-- Агадир.

Радист дает позывные, неотрывно глядя на часы -- почему?

-- Слышит нас?

-- Нет. Но он сейчас будет говорить с Касабланкой, и мы все узнаем.

И мы тишком подслушиваем секреты ангелов. Карандаш радиста тычется в

бумагу, замирает, прикалывает к ней букву, другую, потом, торопясь, целый

десяток. Из букв распускаются слова, как цветы.

Для Касабланки...

Ах, собака! Тенерифе забывает Агадир! Его мощный голос без остатка заполняет наушники. И вдруг обрывается.

... землился шесть тридцать. Вылетел...

Тенерифе снова влезает без спросу.

Но я уже знаю все, что нужно. В шесть тридцать почтовый вернулся в Агадир. Туман? Что-то с мотором? Так или иначе, он вылетит не раньше семи. А

не опаздывает.

-- Спасибо!

### III

Жак Бернис, скоро ты будешь здесь -- но прежде я хочу снять покров тайны с тебя самого. С тебя, чье место на земле вот уже второй день должны

искать радисты. Ты проведешь с нами положенные двадцать минут, я открою

банку консервов и откупорю бутылку вина, и ты не скажешь ни слова о любви

или о смерти, ни об одном из главных вопросов, -- только о направлении ветра, о том, как там небо и твой мотор. Ты усмехнешься шутке механика, вздохнешь -- ну и жара, и будешь похож на любого из нас.

Я расскажу, что за путешествие ты совершаешь. Как заглядываешь под кромку видимостей. И почему, хоть мы все и шагаем бок о бок, шаги у тебя

совсем другие.

Мы с тобой родом из одного детства, и вот что внезапно возникает в моей памяти: древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Мы были бесстрашными мальчишками:

-- Ну, чего трусишь? Открывай дверцу...

Древняя, полуразрушенная, увитая плющом стена. Иссошенная, пронизанная, пропитанная солнцем. Пропитанная веществом очевидности. Ящерицы шуршали в листьях плюща, мы называли их змеями: уже тогда нас манил этот образ бегства, именуемого смертью. Каждый камень с этой стороны стены был теплый, как яйцо из-под наседки, и такой же круглый. И в каждой былинке, в каждой крупице земли ни малейшей тайны не оставило солнце. По эту сторону стены полновластно, во всем своем изобилии царило деревенское лето. Мы посматривали на колокольню. Прислушивались к шуму молотилки. Все вокруг заливала синева небес. Крестьяне жали хлеб, священник опрыскивал купоросом виноградник, взрослые в гостиной играли в бридж. Их всех, старших, чей труд был отдан этому уголку земли, кто на весь век, от рожденья до смерти, брал под опеку это солнце, этот хлеб, этот дом, -- их всех мы звали "стражей". Ведь было так сладко вообразить себя на самом опасном острове между двух гибельных океанов -- между прошлым и будущим.

-- Поворачивай ключ!

Детям запрещалось открывать эту маленькую, позеленевшую, словно древняя баржа, дверцу, запрещалось прикасаться к огромному замку, вынырнувшему из пучины времен ржавым, как старый якорь.

Взрослые, конечно, боялись за нас: вечный страх, что ребенок утонет, хоть бы и в луже. А за дверцей спала, под покровом неба, недвижимая вода -- так она спит, говорили мы, уже тысячу лет; и всякий раз, когда заходила речь о стоячей, мертвой воде, мы вспоминали наш пруд. Мелкие круглые листочки одели его зеленой ряской -- мы бросали камешки, пробивая в ней крохотные дырочки.

А какой прохладой оведали эти мощные, тяжелые ветви, несшие на себе все

бремя солнца! Никогда ни один луч не золотил нежную зелень запруды,  
не  
касался драпирующей воду драгоценной парчи. А швырнешь камешек -- и он  
летит

и летит, как звезда: ведь мы-то знали, что там нет дна.

-- Посидим...

Ни звука вокруг. В этой прохладе и сырости, среди этих запахов мы  
наслаждались новым ощущением тела. И, конечно, мы были заброшены  
невесть

куда, на край света, -- ведь мы уже знали: странствовать -- значит, прежде  
всего, обрести новую плоть.

-- Здесь все видно с изнанки.

С изнанки видно это самоуверенное лето, эти поля, эти лица -- все, что  
держало нас в плену. И мы ненавидели этот навязанный нам обычный мир.  
К

ужину мы возвращались домой, сгибаясь под тяжестью тайны, словно  
ловцы

жемчуга, коснувшиеся сокровища на самом дне. И когда солнце  
опрокидывалось в

закат, розовым отливая на скатерти, -- нас больно ранили слова:

-- День-то все прибывает.

Мы чувствовали, как нас затягивает эта вечная круговерть, эта  
бесконечная череда времен года, каникул, свадеб и смертей. Пустая суета,  
видимость жизни.

Главное -- бежать отсюда. В десять лет мы находили прибежище на  
чердаке, под самыми стропилами. Мы оказывались за кулисами этой  
жизни:

мертвые птицы, разворошенные сундуки, одежда, которую никто не носит...

И,

конечно, сокровище -- где-то здесь оно спрятано, как в любом старинном  
доме,

ведь сказки так ясно описывают: сапфиры, опалы, алмазы... Сокровище  
чуть

мерцало -- и каждая стена, каждая балка обретали смысл. Каждая из этих  
огромных балок -- бог весть, от чего они защищают дом. Да, конечно. От  
времени. Ведь время и было здесь главным врагом. От него защищались  
традициями. Культурой прошлого. Мощными балками. И только мы знали:  
этот дом

спущен на воду, словно корабль. Только мы, облизав все его трюмы, знали,  
что

он уже дал течь. Нам была известна каждая лазейка, сквозь которую  
птицы

забирались умирать на чердак. Каждая щель в корпусе этого судна. Внизу

в

просторных залах болтали гости, танцевали красивые женщины. Как обманчива  
безопасность! И ликеры подавались: черные лакеи, белые перчатки... Эх, вы,  
пассажиры! А мы тут, наверху, видели, как в рассевшиеся швы кровли просачивается синяя ночь. Вот крохотное отверстие, пропустившее одну-единственную звезду. Выщеженную для нас из всего огромного неба. Но  
она-то и несла с собой болезнь. Мы сторонились: от таких умирают.

Нас пробивала дрожь. Вокруг кипела непостижимая работа. Балки чуть не  
лопались от сокровища. При каждом треске мы бросались простукивать дерево.

Ведь это все была скорлупа, готовая отдать свое ядро. Скорлупа, извечная оболочка вещей, под которой наверняка что-то совсем другое. Может быть, эта

звезда -- маленький твердый алмаз. Когда-нибудь мы отправимся искать его  
--

на север, или на юг, или в глубь себя. Бежать.

Звезда выглядывала из-за края черепицы, и это был ясный знак: пора спать. Мы спускались к себе, унося с собой в полусон -- наше дальней странствие -- все, что знали о мире, где таинственный камешек бесконечно погружается в глубину вод, а щупальца-лучи в просторах вселенной тысячелетиями пронзают тьму, чтобы добраться до нас, где дом, как корабль,  
трещит под гибельным ветром, и напор непостижимого сокровища взрывает вещи,  
одну за другой.

-- Ну, садись. Я уж думал, у тебя авария. Вот, выпей. Я думал, авария, собрался лететь на поиски. Самолет вон уже на взлетной. А у нас тут племя аит-гусса напало на изаргинов. Так я боялся, что ты угодишь в самую заваруху. Пей, пей. Или хочешь съесть чего-нибудь?

-- Да нет, отпусти меня.

-- У тебя же еще пять минут. Погляди-ка на меня. Что там с Женевьевой? Почему ты усмехаешься?

-- Да пустяки. Только что, в кабине, вспомнил одну старинную песенку. И словно вдруг помолодел...

-- А Женевьева?

-- Не знаю ничего. Пусти меня.

-- Жак! Отвечай!.. Ты ее видел?

-- Да... -- Он колебался. -- По пути в Тулузу я сделал крюк, чтобы повидать ее еще раз...

И Жак Бернис рассказал мне, что с ним приключилось.

## IV

То был не захолустный полустанок -- то была потайная дверца. По видимости, она выходила в поля. Контролер на перроне окидывал безмятежным взглядом белую дорогу, ручеек, кусты шиповника -- никакой тайны! Начальник станции ухаживал за розами, носильщик с напускным рвением толкал пустую тележку. Но за этим маскарадом скрывались три стража запретного мира.

Контролер постучал пальцем по картонке билета:

-- Вам же из Парижа в Тулузу, почему вы сходите здесь?

-- Поеду дальше следующим поездом.

Контролер разглядывал Берниса. Он колебался, пропускать ли его -- не к дорожке, ручью и шиповнику, а в королевство, куда со времен Мерлина проникают, срывая покров видимости. Но, похоже, он углядел-таки в Бернисе

три доблести, со времен Орфея нужные для этого путешествия: мужество, молодость, любовь...

-- Проходите, -- сказал он.

Скорые неслись мимо, как угорелые, а этот вокзал служил лишь для отвода глаз, словно маленькое кафе какого-нибудь тайного общества, с подставными официантами, подставными музыкантами, подставным барменом...

Уже в омнибусе Бернис почувствовал, как его жизнь замедляет ход, меняет смысл. А в этой повозке, рядом с крестьянином-возницей, он удалялся от нас все сильнее и сильнее. Он погружался в тайну. Лицо возницы к тридцати годам уже покрыли все положенные морщины: больше ему не стариться. Он обводил рукой поле:

-- Ишь, как пошло в рост! -- и всходы пшеницы с незримой нам скоростью рвались к солнцу. Он указывал на стену:

-- Дед моего деда строил! -- и мы казались Бернису еще более далекими, суетными и ничтожными. Стена перед ним была вечная, и дерево -- вечное, -- и

он догадался, что у цели.

-- Вот и поместье. Прикажете подождать?

Дремлет сказочное королевство, опустившееся под воду, -- здесь Бернис за один час проживет сто лет.

И в тот же вечер та же повозка, тот же омнибус, тот же скорый позволят ему все-таки вывернуться, бежать обратно в мир, как повелось со времен Орфея или Спящей красавицы. Он прижмет, на пути в Тулузу, бледное лицо к стеклу вагона, он будет похож на других пассажиров. Но в самой глубине сердца он будет нести воспоминание, которое не выразить словами, как цвет небосвода, как цвет луны.

Странно: он вошел -- а навстречу ни приветов, ни возгласов удивления. Только глухой звук собственных шагов. Он, как встарь, перескочил через ограду. Аллеи заросли травой -- вот и все перемены. Меж деревьев проглянул белый дом -- словно во сне, из неодолимой дали. Вот он и у цели -- если только это не мираж. Он поднимается по уходящим в землю каменным ступеням.

Эта уверенность линий рождена непринужденностью и необходимостью.

"Здесь все настоящее..." В темном вестибюле брошена на стул белая шляпка -- не ее ли? Милый сердцу беспорядок: никакой запущенности, все исполнено смысла и говорит о присутствии, хранит отпечаток движения. Чуть отодвинутое кресло: кто-то встал из него, опершись рукой о стол, -- так и видишь этот жест. Раскрытая книга: кто ее читал и оставил? Почему? У кого-то в голове, быть может, еще звучат ее последние слова.

Бернис улыбнулся: сколько в этом доме маленьких забот, маленьких хлопот. Целый день кипела здесь жизнь: надо выполнять все те же домашние повинности, поддерживать тот же милый беспорядок. А здешние драмы почти ничего не значили: у путешественника, чужестранца они могли вызвать только улыбку...

"И все же, -- думал Бернис, -- здесь, как и везде, из года в год на смену дню спускается вечер, завершая круг. А назавтра... назавтра жизнь начинается снова. И снова идет до самого вечера. А вечер приносит разрешение от дел: закрываются ставни, возвращаются на полку книги, экраны прикрывают

камин -- все на своих местах. Этот ежевечерне обретаемый покой мог бы стать вечным, в нем уже ошутим привкус вечности. Мои же ночи -- даже не передышка..."

Бернис бесшумно сел. Он не осмеливался себя обнаружить: все вокруг казалось таким мирным, таким нерушимым. Вот сквозь аккуратно опущенную штору просочился солнечный луч. "Истерлась, -- думает Бернис, -- здесь все старится так незаметно..."

"Что-то мне предстоит узнать..." Шаги в соседней комнате наполняют дом тихой радостью. Тихие, спокойные шаги. Будто бы монашенка убирает цветами алтарь. "Как малы вершащиеся здесь дела! Моя жизнь спрессована, словно драма. А здесь столько свободного пространства, столько воздуха вокруг всякого движения, всякой мысли..." Он выглянул в окно: за окном тянулись под солнцем поля. Бежала вдаль белая дорога -- чтобы идти на молитву, чтобы ехать на охоту, чтобы отнести на станцию письмо. Бернис прислушался к отдаленному шуму молотилки -- так слабый голос актера заставляет замереть зал.

Снова звук шагов. "Верно, расставляют безделушки -- вечно ими забиты эти полки под стеклом. Ведь от каждой эпохи остаются свои окаменелости..."

До него долетел обрывок разговора.

-- Думаешь, она доживет до конца недели? Доктор...

Шаги затихли в глубине. Ошеломленный, он молчал. Кто здесь умирает?

Сердце его сжалось. Он звал на помощь всех свидетелей жизни: белую шляпку, раскрытую книгу...

Голоса слышались вновь. Полные любви, но спокойные. Под этой кровлей поселилась смерть -- и ее принимали как свою, не отводя глаз. Никаких декламаций. "Как все просто, -- думал Бернис. -- Жить, расставлять безделушки, умирать..."

-- Ты нарвала цветов для гостиной?

-- Да.

Говорили тихо, приглушенно, но ровно. Говорили о любых мелочах, и только все их краски тускнели, меркли перед лицом смерти. Легонько брызнул смех и сам собой замер. Не слишком веселый смех -- но его не нужно удерживать ради театрального горя.

-- Не ходи к ней, -- сказал голос, -- она спит.

Так значит, Бернис притаился в самом сердце страдания. Ему стало страшно, что его заметят. При постороннем приходится выражать свою скорбь, и она перестает быть смиренной и безыскусной. К нему зовут: "Вы ведь знали ее, любили..." Он облакает умирающую прежним очарованием, и это нестерпимо.

И все-таки он вправе быть рядом!.. -- "... я правда ее любил".

Ему нужно было ее увидеть. Он тихонько поднялся по лестнице, отворил дверь. Комнату наполняло лето. Светлые стены, белая постель. В распахнутое окно рвался день. Дальний колокол бил медленно, ровно -- в ритме сердца, здорового, не подстегиваемого лихорадкой. Она спала. Счастливый сон в объятьях лета!

"Она умирает..." Он сделал шаг по натертому, сияющему паркету. Он не мог понять собственного спокойствия. Но она вздохнула во сне -- и он не осмелился двинуться дальше.

Он угадывал вокруг себя какое-то необъятное присутствие: душа больных заполняет комнату, и комната вся словно рана. Страшно задеть стул, сделать шаг.

Ни звука. Только муха жужжит. И вдруг раздался какой-то дальний зов. Мягко скользнул по комнате ветер. "Вот и вечер," -- Бернис очнулся. Скоро закроют ставни, зажгут лампу. И тогда ей придется преодолевать подступившую ночь. Ночник будет зачаровывать воспаленный взгляд, как мираж, и предметы, отбрасывая недвижные тени, на двенадцать часов встанут перед глазами, невыносимой тяжестью впечатываясь в мозг.

-- Кто здесь? -- спросила она.

Бернис подошел. Нежность, жалость подступили ему к горлу. Он наклонился. Помочь ей. Обхватить руками. Стать ее силой.

-- Жак... -- Она не отрывала взгляда. -- Жак...

Она пыталась вызвать его из глубин своей памяти. Она не искала его плеча, она ворошила собственные воспоминания. Она цеплялась за его рукав, как утопающий, -- но ухватиться пыталась не за него самого, не за его поддержку, а за некий образ... Она всматривалась...

И вот мало-помалу она видит, что он чужой. Она не узнает этого взгляда, вон той морщинки. Она сжимает его пальцы, словно зовет, -- но нет, он ей не опора. Он не тот, кто живет в ее душе. И она устала от его присутствия, она отталкивает его и отворачивается.

Расстояние между ними непреодолимо.

Он бесшумно вышел, снова прошел через вестибюль. Он возвращался из  
бесконечного странствия, смутного странствия, о котором с трудом  
вспоминаешь. Больно ли ему? Горько ли ему? Он остановился у окна. Вечер,  
как  
море, потихоньку вливался в трюм давшего течь корабля, и безделушки  
погружались в темноту. Прижавшись лбом к стеклу, он глядел, как  
удлиняются  
тени лип, как они смыкаются, набрасывая на лужайку перед домом покров  
ночи.

Дальняя деревня рассыпала горстку огней: кажется, он мог бы собрать их  
рукой. И не было больше никаких расстояний: вон тот холм тоже можно  
потрогать. Голоса в доме смолкли: дневной круг завершен. Бернис не  
шевелился. Ему вспоминались похожие вечера. Он всплывал с трудом из  
морской  
пучины, точно водолаз в тяжелом скафандре; рядом с ним  
разглаживалось,  
замыкалось лицо женщины, и вдруг становилось страшно будущего,  
страшно  
смерти.

Он вышел -- и обернулся: так остро ему захотелось, чтобы его заметили,  
позвали. Чтобы сердце его растопили радость и печаль. Нет, ничего. Ничто  
его  
не удерживало. Деревья легко выпустили его. Он перескочил через  
ограду:  
дорога все та же. Кончено, он больше не вернется никогда.

## V

И перед вылетом Бернис подытожил все, что с ним приключилось:

-- Понимаешь, я пытался увлечь Женевьеву в свой мир. Но я показывал ей  
этот мир -- и все в нем тускнело и блекло. А та первая ночь легла между нами  
и миром такой невообразимой толщей, что не преодолеть. Я должен был  
вернуть  
ей ее дом, ее жизнь, ее душу. Каждый тополь у дороги, один за другим. Мы  
подъезжали к Парижу -- и эта безмерная толща убывала и убывала. Словно в  
ту  
ночь я затянул ее на морское дно. А теперь, спустя столько времени, я  
пытался снова с ней соединиться -- и мог приблизиться, притронуться:  
пространство не разделяло нас. Что-то большее. Не знаю, как передать: это  
были тысячелетия. Люди так далеки друг от друга! Она цеплялась за свои  
белые

простыни, за свое лето, за все, что в ее жизни было очевидного. И ее нельзя было унести с собой. А теперь пусти меня.

Куда ты теперь за своим сокровищем -- ловец жемчуга, прикоснувшийся к нему на самом дне, но не умеющий вытащить на свет божий? В этой пустыне, по которой я бреду, свинцовой тяжестью прикованный к земле, -- мне бы ничего не открыть. Но ты чародей, и для тебя она лишь песчаный покров, лишь видимость...  
-- Пора, Жак...

## VI

И вот, заточенный в кабине, он грезит. Земля с такой высоты кажется неподвижной. Желтый песок Сахары бесконечной обочиной сцепился с синевой океана. Береговую полосу сносит вправо, но Бернис, опытный мастер, косо скользя, выравнивает курс, ориентируясь по мотору. На каждый вираж, заложенный Африкой, он отвечает легким наклоном крыла. Еще две тысячи километров -- и Дакар.

Ослепительная белизна под ним -- это и есть непокоренная страна. Да голая скала порой. Кое-где намело ровные гряды дюн. Самолет схвачен недвижимым воздухом, как крупинка металла -- рудой. Никакой болтанки, никаких перемен под крылом: подхваченный ветром, он длит свой полет. Порт-Этьен -- ближайшая посадка -- отмечен не в пространстве, а во времени, и Бернис глядит на часы. Еще шесть часов неподвижности и безмолвия, и он выйдет из самолета, будто из кокона. В новый мир.

Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на застывший счетчик оборотов. Если стрелка сорвется со своей цифры, если авария предаст человека пескам, время и пространство обретут совсем другой смысл, который сейчас и не вообразить. Сейчас его путь лежит в четвертом измерении.

Но он знал, как перехватывает дыхание этот новый смысл. Мы все знали. И сколько бы образов ни мелькало перед нами -- мы были пленниками

единственного: в нем проступало своим истинным весом бремя этого солнца,  
этих песков, этого безмолвия. Мир рухнул на нас. А мы оказались так слабы и  
безоружны. Нашим жестам под силу разве что обратить в бегство пару газелей.

Наши голоса не слышно и за триста метров, им не долететь до людей.  
Каждый из нас падал однажды на эту неведомую планету.

Там время длилось и длилось, слишком долгое для привычного ритма нашей жизни. В Касабланке мы измеряли его часами свиданий: каждое несло перемены сердцу. В самолете каждые полчаса менялась погода вокруг -- перемены для тела. Здесь счет шел на недели.

Нас вызволяли товарищи. Если у нас не хватало сил, они затаскивали нас в кабину: стальные руки друзей тянули нас обратно, из этого мира -- в наш.

Удерживая хрупкое равновесие над бездной неведомого, Бернис думает: как мало он знает самого себя. Какой отклик вызовет в нем жажда, потеряность, жестокость мавров? А если Порт-Этьен вдруг окажется отброшен на месяц, а то и больше?

-- Ни к чему храбриться, -- думает он.

Ведь это все условность. Отважившись на мертвую петлю, молодой пилот опрокидывает себе на голову не подвернувшиеся предметы -- прочные, подлинные, и малейший мог бы его раздавить: деревья и стены, низвергающиеся на него, зыбки и невесомы, точно во сне. Храбриться, Бернис?

И все-таки, как ни противится его сердце, дрожь мотора поселяет в нем это неведомое, в любую минуту готовое пробудиться.

Час спустя и залив, и выступ суши разоружены и повержены самолетным винтом, присоединены к остающейся за спиной ничейной земле. А впереди каждый клочок земли по-прежнему чреват тайной угрозой.

Еще тысячу километров тянуть на себя это бескрайнее полотно.

Порт-Этьен Кап-Джуби: Почтовый прибыл благополучно 16.30.

Порт-Этьен Сен-Луи: Почтовый отправлен 16.45.

Сен-Луи Дакару: Почтовый вылетел Порт-Этьена 16.45, продолжит полет ночью.

Восточный ветер. Он дует из глубин Сахары, крутит желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось мягкое блеклое солнце, искаженное жарким маревом. Как бледный мыльный пузырь. Ближе к зениту оно постепенно сжимается, обретает форму и раскаленным копьем, огненным жалом вонзается в затылок.

Восточный ветер. Вылетаешь из Порт-Этьена -- в воздухе спокойно, почти свежо, но стоит подняться на сто метров -- и вокруг жгучая лава.

Температура масла: 120.

Температура воды: 110.

Ясно: надо набрать две тысячи, три тысячи метров высоты. Уйти выше песчаной бури. Ясно. Но при этом за пять минут перегреется мотор. И потом, легко сказать -- выше. Воздух не держит, самолет проваливается и вязнет.

Восточный ветер. Он ослепляет. Солнце застилают желтые вихри, но, проступая порой, еще сильнее обжигает его бледный лик. Землю видно только под собой, и то едва. Я пикирую? Наоборот, задираю нос? Валюсь в крен? Поди разбери! Но на ста метрах -- потолок, выше хода нет. Тем хуже. Попробуем понизу.

Внизу по земле поток северного ветра. Отлично. Опускаешь руку из кабины.словно в быстрой лодке проводишь пальцами по холодной воде.

Температура масла: 110.

Температура воды: 95.

Прохладный поток? Все относительно. Летишь, будто пританцовывая, и каждая складка земли норовит задать тебе оплеуху. И осточертело же ничего не видеть!

А у мыса Тимирис восточный ветер притирается к самой земле. Уже нигде не укрыться. Запахло горелой резиной: магнето? уплотнители? Стрелка тахометра дернулась и упала на десять оборотов. "Черт, тебя еще не хватало!.."

Температура воды: 115.

Выиграть бы хоть десять метров высоты! Мельком -- на дюну, сейчас она подбросит тебя как трамплин. Мельком -- на приборы. Оп! А за дюной-то

болтанка. Всем телом налегаешь на штурвал -- долго так не протянуть.

Несешь

самолет в руках, едва удерживая в равновесии, -- словно слишком полную чашу.

В десяти метрах под колесами Мавритания гонит навстречу свои пляжи, солончаки, дюны -- как поток сброшенного балласта.

1520 оборотов.

Первый перебой мотора встряхивает пилота, точно удар кулака.

Двадцать

километров до французского поста -- единственного. Дотянуть!

Температура воды: 120.

Дюны, скалы, солончаки -- все ушло под тобой в прокатный стан. Давай, давай! Очертания растягиваются, рвутся, снова срastaются за спиной. Под самыми колесами мир ломается на куски, будто ледоходом: эти черные скалы

сбиваются в кучу, вроде бы медленно подступают и вдруг встают на дыбы.

Ты

пикируешь -- они врассыпную...

1430 оборотов.

"Ох, и сломаю я себе шею..." К обшивке не притронуться: жжет. От радиатора клубы пара. Самолет, точно перегруженную шлюпку, тянет ко дну.

1400 оборотов.

В двадцати сантиметрах от колес взметаются последние песчаные вихри. Как подброшенные лопатой. Полные лопаты золота. Перепрыгиваешь еще одну дюну

-- и вот он форт. Бернис садится. Успел.

Пейзаж тормозит и замирает. Из пыльного марева снова соткался мир.

Маленькая французская крепость в Сахаре. Старый сержант смеется от радости и встречает Берниса как брата. Двадцать сенегальцев берут на караул:

белый в этих местах -- по меньшей мере сержант, а то и лейтенант, раз такой молодой.

-- Здравствуй, сержант!

-- О, добро пожаловать, я так рад! Сам я из Туниса...

Свое детство, свои воспоминания, свою душу -- все сразу выкладывает он Бернису.

Маленький стол, к стене приколоты фотографии.

-- Да-да, это все родня. Я еще не со всеми знаком, вот махну в Тунис на будущий год... Эта? Это подружка моего приятеля. Я всегда ее видел у него на

столе. Он вечно говорил, говорил о ней. А теперь он умер, и я взял ее себе, и тоже вот... Своей-то подружки у меня нет.

-- Пить охота, сержант.

-- О, конечно! Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить вином! А вот для капитана у меня не нашлось. Он пролетал пять месяцев назад. Я, конечно, потом долго не находил себе места, даже просил, чтобы меня сменили: до того было стыдно. Что я тут делаю? Целыми ночами пишу письма: не спится, а свечи у меня есть. Ну, а почта приходит раз в полгода, мои ответы уже не годятся -- вот и начинаешь все сызнова.

Бернис с сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта.

Пустыня в лунном свете, и ничего, ничего вокруг! Что он тут охраняет на этом посту? Разве что звезды. Разве что луну...

-- У вас под началом звезды, сержант?

-- Курите, пожалуйста, табачок у меня есть. Вот для капитана-то не нашлось...

Бернис узнал все об этом капитане, и о лейтенанте. Он мог бы назвать их неповторимые черты, достоинства и недостатки: тот был игрок, этот -- слишком

мягок... Он понимал: о последнем появлении юного лейтенанта затерянный среди

песков старый сержант вспоминал, как о любовном свидании:

-- Он учил меня различать звезды...

-- Конечно, ведь он сдавал их вам под начало.

А теперь Бернис в свой черед показывал сержанту звезды. И сержант, постигая звездные дали, думал и о таком же далеком Тунисе. И божился, что и

сам узнал бы в лицо Полярную звезду, держись она чуть левее, -- а думал о Тунисе, таком близком.

-- И мы мчимся к ним с головокружительной скоростью...

И сержант спешил схватиться за стенку.

-- Да вы знаете все на свете!

-- Нет, сержант. Вот знал я еще одного сержанта -- так он говаривал мне: "Стыда у вас нет, вроде юноша воспитанный, образованный, не босяк

какой, -- и не знает, как правильно делать "бочку"!"

-- О, вам нечего стыдиться, это же так трудно...

Он его утешал!

-- Сержант, сержант! Вот тебе и фонарь для дозора...

И Бернис показывал на луну.

-- Слушай, сержант, а знаешь такую песенку:

Пастушка, не зевай-ка,

Ведь дождик все сильней...

Бернис промурлыкал мотив.

-- Еще бы, это же тунисская песенка.

-- Скажи, сержант, как там дальше. Все хочу вспомнить...

-- Пойдите-ка:

Мокрым-мокра лужайка,  
И овцы вместе с ней...

-- Вспомнил, вспомнил, сержант!

Средь пашен оробелых  
Гремит все ближе гром --  
Своих милашек белых  
Гони скорее в дом!..

-- Ах, ведь и в самом деле! -- сказал сержант.

Одно и то же было им ясно.

-- Вот и день на дворе, давай за работу.

-- За работу.

-- Дай-ка мне свечной ключ.

-- Вот он.

-- А тут прихвати плоскогубцами.

-- Вы только прикажите -- я все сделаю!

-- Видишь -- тут дела-то пустяк, сержант, можно лететь!

И сержант глядит на молодого бога, явившегося ниоткуда и улетающего невесть куда.

Явившегося напомнить ему песенку, Тунис, его самого. Там, за песками, что там за рай, откуда неожиданно спускаются эти добрые вестники?

-- Счастливо, сержант!

-- Счастливо...

Сержант, не помня себя, беззвучно шевелит губами. Какими словами скажешь, что теперь в твоём сердце -- на полгода запас любви?

## VII

Сен-Луи Порт-Этьену: Почтовый не прибыл. Точка. Срочно сообщите новости.

Порт-Этьен Сен-Луи: Никаких известий после вылета вчера 16.45. Точка. Немедленно начинаем поиск.

Сен-Луи Порт-Этьену: Самолет 632 отправлен 7.25. Точка. Задержите ваш вылет до его прибытия Порт-Этьен.

Порт-Этьен Сен-Луи: Самолет 632 прибыл 13.40. Точка. Пилот ничего не обнаружил. Видимость нормальная. Точка. Полагает нашел бы на обычном маршруте. Точка. Нужен третий пилот эшелонированного поиска пустыне.

Сен-Луи Порт-Этьену: Согласны. Даем команду.

Сен-Луи Джуби: Никаких известий почтовым Франция -- Америка. Срочно вылетайте Порт-Этьен.

Джуби.

Ко мне подходит механик:

-- Бак с водой в переднем левом отсеке, провизия в правом. Сзади запасное колесо и аптечка. Десять минут -- и можно лететь. Есть?

-- Есть.

Блокнот. Распоряжения.

"К моему возвращению подготовить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами. Погрузить на парусник пустые бидоны".

Облокотясь, пристраиваюсь у окна. Парусник, раз в месяц привозящий пресную воду, покачивается на волнах. Он прекрасен. По всей моей пустыне

разлито теперь немного трепета жизни, немного свежести и белизны простынь. Я

-- Ной, и ко мне в ковчег залетела голубка.

Самолет готов.

Джуби Порт-Этьену: Самолет 236 вылетел 14.20 Порт-Этьен.

Путь караванов отмечают высохшие скелеты, наш -- обломки машин: "Еще

час до бохадорского самолета..." Голый костяк, разграбленный маврами. Ориентир.

Тысяча километров песка, потом Порт-Этьен: четыре барака в пустыне.

-- Ждали тебя. Летим сейчас же, пока светло. Один вдоль берега, другой в двадцати километрах, третий в пятидесяти. Ночуем в форте. Ты что -- берешь

другую машину?

-- Да. Клапан заклинило.

Перебираюсь.

Летим.

Ничего. Это всего лишь темная скала. А я все пускаю эту пустыню в прокатный стан, и каждая черная точка сбивает меня с толку и тревожит. Но

снова и снова катится навстречу какая-нибудь темная скала.

Товарищей не видать: у каждого -- свой участок неба. И мы рыщем с упорством ястребов. Моря не видать. Подвешен над раскаленной жаровней,

вообще не вижу ничего живого. Вдруг бухает сердце: вдали обломки...

Темная скала.

Мотор ревет бурлящим потоком. И этот поток захлестывает меня, изматывает...

Я часто видел, Бернис, как ты околдован своей невозможной надеждой. Не

могу выразить. Только вспоминаю твое любимое место из Ницше: "Мое лето,

короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное".

Устал всматриваться. Перед глазами пляшут черные точки. Я уже сам не знаю, куда лечу.

-- Так вы его видели, сержант?

-- Он улетел чуть свет...

Мы присаживаемся у стены форта. Сенегальцы пересмеиваются, сержант

дремлет. Сумерки хоть и светлы, но не для поисков.

Один из нас собирается с духом:

-- Если самолет сильно разбит... в общем... можно сказать, его не найти.

-- Ну да.

Один из нас подымается, делает пару шагов:

-- Дрянь дело. У кого сигареты?

И все мы: люди, звери, вещи, -- влываем в ночь.

Мы влываем в ночь, сигарета -- бортовой огонь, и мир вновь обретает свои истинные размеры. Караваны состарятся, пока дойдут до Порт-Этьена.

Сен-Луи в своем Сенегале -- уже за гранью яви. Только что эта пустыня была

простым песком, без малейшего покрова тайны. И города попадались через

каждые три шага, а старый сержант, приготовившийся к терпению, молчанию и

одиночеству, кажется, чувствовал, что вся эта доблесть ни к чему... Но вот кричит гиена, и песок оживает, и какой-то дальний зов вновь воссоздает тайну, -- и здесь рождение, и бегство, и новое начало...

Но для нас истинные расстояния -- те, что нам отмеряют звезды. Над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой, которую надеешься сберечь,  
снова встает вехой Полярная звезда.

А над сокровищем встает Южный Крест.

К трем часам утра наши шерстяные одеяла становятся тонкими и прозрачными: луна наворожила. Просыпаюсь заледеневший. Поднимаюсь покурить на кровлю форта. Сигарета... другая... Так и дождусь зари.

В лунном свете эта маленькая крепость -- словно пристань у тихих вод. Все звезды в сборе -- мечта мореплавателя. И компасы на всех трех машинах благо разумно указывают на север. И все же...

Не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле? Здесь кончается осязаемый мир. Эта крепость -- причал. Дальше -- только призрачный мир лунного света.

А ночь волшебна. Где ты, Жак Бернис? Здесь ли, там ли? Твое присутствие уже почти невесомо. И Сахара вокруг меня так бесплотна, что едва выдержит кое-где прыжок газели и с трудом, на самой плотной складке песка -- легкого ребенка.

Поднимается ко мне и сержант:

-- Не спится?

-- Не спится, сержант.

Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, Бернис, родившееся из твоего безмолвия.

-- Сигарету?

-- Спасибо.

Сержант жует сигарету.

-- Сержант, завтра мне снова на поиски -- как думаешь, где он?

И сержант уверенным жестом обводит горизонт.

Потерянный ребенок, -- тобою полна вся пустыня.

Бернис, однажды ты признался мне: "Я любил жизнь, которую не до конца понимал. Может, она была не совсем настоящая? Я и не знаю толком, чего я хотел, что это за вечная жажда..."

Бернис, однажды ты признался мне: "Я пытался угадать, что там таится, за видимостью вещей. Мне казалось, нужно только усилие -- и я все пойму, постигну и смогу унести с собой. И вот я ухожу, взволнован присутствием

Друга, -- а ведь я так и не смог вытащить его на свет божий".

Будто бы тонет корабль. Будто бы затихает ребенок. Будто бы весь этот трепет парусов, мачт, надежд погружается в пучину вод.

Рассвет. Хрипло кричат мавры. На земле -- их полумертвые от усталости верблюды. Похоже, с востока подобрался отряд ружей в триста -- из какого-нибудь северного племени, -- и перебил полкаравана.

Поискать вдоль пути отряда?

-- Тогда -- веером, да? Средний -- строго на восток...

Самум: набираешь пятьдесят метров -- и этот ветер вытягивает из тебя всю влагу.

Мой товарищ...

Значит, вот оно, твое сокровище...

На гребне дюны, крестом раскинув руки, головою к густой синеве залива, лицом к звездным селеньям, -- ты наконец невесом...

Столько оборвалось крепчайших уз, летучий Бернис, пока ты скользил к югу, -- оставался лишь один друг, тончайшая паутинка, связующая с миром...

А этой ночью ты уже ничего не весил. На головокружительной высоте, на самой высокой звезде, на Звезде Волхвов, вот оно блеснуло, твое сокровище, беглец!

Паутинка моей дружбы больше тебя не держала: нерадивый пастух, я, должно быть, заснул.

Сен-Луи Тулузе: Почтовый Франция -- Южная Америка найден восточнее

Тимириша. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб, самолет

разбился, почта цела. Точка. Следуем Дакар.

## VIII

Дакар Тулузе: Почта благополучно доставлена. Точка.